

ПОСИДЕЛКИ НА ДМИТРОВКЕ

Выпуск восьмой



Тамара Александрова

Посиделки на Дмитровке.

Выпуск восьмой

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24502923
ISBN 9785448536663

Аннотация

«Посиделки на Дмитровке» – сборник секции очерка и публицистики МСЛ. У каждого автора свои творческий почерк, тема, жанр. Здесь и короткие рассказы, и стихи, и записки путешественников в далекие страны, воспоминания о встречах со знаменитыми людьми. Читатель познакомится с именами людей известных, но о которых мало написано. На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.

Содержание

Вступление	5
Иван Ларин	7
Грешное дело	7
Тамара Александрова	38
Леонид Каннегисер: «Умрем – исполним назначение»	38
Лина Тархова	61
Кто вы, русский мистер «Х»?	61
Лев Золотайкин	83
Моя родная бабушка	83
Наталья Коноплёва	111
Как тетя Шура поругалась со Сталиным. Из- за вагона коньяка	111
Олег Ларин	125
Хляби земные, хляби небесные	125
«Из Египта евреев вывел Пророк Моисей, а нас, восемнадцать жителей белорусского местечка Долгиново, вывел лейтенант Коля Киселев»	140
Лилит Козлова	149
«Я и мир» Константина Паустовского и Марины Цветаевой	149
Конец ознакомительного фрагмента.	151

Посиделки на Дмитровке

Выпуск восьмой

Редактор Тамара Александрова

Редактор Лидия Александрова

Редактор Алла Зубова

Редактор Лина Тархова

Технический редактор Наталья Коноплева

ISBN 978-5-4485-3666-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

«Посиделки на Дмитровке» – сборник секции очерка и публицистики Московского союза литераторов. Перед вами его восьмой выпуск. Первая проба «коллективного пера» состоялась в 2006 году. Тогда мы волновались, как будут выглядеть под одной обложкой очень разные литераторы, разные жанры, соседство научно-популярной статьи с лирическими стихами, эссе с частушками? И не залезают ли публицисты в епархию секций прозы и поэзии?

Разнообразие пошло на пользу книге «Одна рубашка для двадцати одного литератора» (так мы называли первый «блин»), в ней ощущалась непосредственность и отражение наших встреч, наших традиционных посиделок, когда люди, давно знакомые, интересные друг другу, делятся сокровенным – своими замыслами, литературными планами, рассказывают о том, что осталось в их журналистских блокнотах и тревожит сейчас, или читают свои стихи. И само собой родилось общее название сборника (всех последующих выпусков) «Посиделки на Дмитровке». Сборник стал необходим, как сами встречи, но расширил круг их участников – появились читатели со стороны, и их отзывы, скажем честно, нас очень подогревают.

Разумеется, все участники секции работают над своими основными темами, пишут статьи для газет и журналов,

участвуют в передачах радио и телевидения, или снимают фильмы, работают над книгами. Но творческому человеку нередко не дает покоя необязательный, но дорогой для него материал, и тогда он пишет для сборника...

Этот выпуск «Посиделок» традиционно разнообразен. Рассказы, записки путешественников, побывавших в экзотических странах, стихи, пьеса, литературный перевод с норвежского, семейные истории, которые шире частной жизни – помогают лучше представить и понять прожитое историческое время. И еще – знакомство с людьми, деятельность которых была долгие годы под грифом «секретно».

Многие страницы посвящены именам известным – Михаил Булгаков, Корней Чуковский, Юрий Олеша, Марина Цветаева, Константин Паустовский, народная актриса Нина Сазонова, юная художница Надя Рушева. Авторы, которым довелось лично с ними встречаться или исследовать творчество, рассказывают о малознакомых читателю событиях их жизни.

Добавим, что среди героев сборника есть и братья наши меньшие, знаменитые собачки, летавшие в космос, и просто чьи-то любимые, гуляющие по московским дворикам.

Иван Ларин

Грешное дело

Иван Иванович Ларин сорок лет проработал в московском Институте атомной энергии имени Курчатова. Но у меня – его сына – сложилось впечатление, что у папы более лежала душа к литературной деятельности. Поэтому, когда в перестроечное время он ушел на пенсию, я помог ему профессионально освоить литературную деятельность, пригласив работать в научно-популярный и общественно-политический журнал Президиума Российской Академии наук «Энергия: экономика, техника, экология» – где в то время работал сам. После этого папа написал несколько книг и много статей, посвященных людям в энергетике и экологии. Но особенно ему удавались рассказы, в которых присутствует личное отношение к событиям, которые он пережил...

Владислав Ларин

Брякнула дверная щеколда, в сенях послышались тяжелые шаги, и в горницу ввалился сельский милиционер. За ним, кашляя и сморкаясь, протиснулся Ванька Грач – сельский выпивоха и скандалист. На милиционере – года-

ми меньше сорока – мешком висела давно не стираная, засаленная гимнастерка. Широленные брюки галифе грязно-синего цвета двумя струями стекали в сапоги. Новая фуражка с крупной красной звездой косо сидела на заросшей густыми рыжими волосами голове. Избитое оспой лицо с сизым носом, опухшее и помятое, было озабочено и угрюмо.

– Здорово, – хрипло пробасил милиционер, обращаясь к хозяину дома, сидящему на лавке за плетением лаптя. Хозяин – Егор Иванович, уже в годах, черный как цыган, поднял глаза и молча посмотрел на непрошеного гостя.

– Будто не рад, – милиционер мрачно осматривал избу. Егор Иванович отложил в сторону недоплетённый лапоть, неторопливо смахнул со штанов обрезки лыка и потянулся к подоконнику за кисетом с домашним табаком.

– Присаживайтесь, коль зашли. А бутылку поставите – гостями будете, – сам он почти не пил, но такими словами было принято встречать неожиданно зашедших в дом. Появление «власти» насторожило и встревожило его. Он знал – эти с добром не заходят. Громыхая сапогами по мытому полу, милиционер прошел к столу, стоящему в переднем углу под божничкой, сел на скамью спиной к окну. Ванька Грач пригнулся на полу у порога, поджав под себя ногу, и стал крутить из куса газеты козью ножку.

Егор Иванович повернул лицо к милиционеру:

– Зачем власть пожаловала? – Егжов, такая фамилия была у милиционера, тем временем рассматривал фотографии

в висящей на стене рамке. Его внимание особенно привлекла фотография сыновей Егора Ивановича. Трое – молодые, красивые – они спокойно, даже слегка насмешливо смотрели на милиционера.

– В Москве живут? – спросил тот с некоторой завистью в голосе.

– Двое в Москве, а старший в Выксе. Так с чем пришли? – повторил вопрос Егор Иванович.

– Года три назад бурей крест с церкви свалило. Ты ведь новый-то ставил? Было?

– Было.

– Таперича его надо с кумпола сбросить.

– Чем же он вам помешал?

– Чем помешал? Газеты надо читать. Партия что говорит? Бога нет. Нет Бога – не нужна и церковь. Сбросили колокола, теперь вот до крестов дело дошло. А там и саму церковь на кирпич пустим. С колокольни – он кивнул головой в сторону Ваньки Грача – этот сокол с Ефимком вместе крест к этой матери спихнули, а с кумпола – у них ума не хватает, добраться до него не могут. Грач отсморкался на пол, вытерев пальцы о штаны, и подал голос:

– Кумпол огромный, с крутыми боками, и как добраться до креста, за что держаться, ума не приложим.

– Вот какая штука получается – колокола и крест с колокольни они сбросить сумели, а тут осечка выходит. Кумпол, видишь ли, огромный, – недовольно проворчал Егжов. –

А из района звонят, требуют к годовщине Октябрьской революции поставить на церкви красный флаг. Вместо креста. Мы с председателем сельского совета Мухановым посоветовались и решили, что ты, Егор Иванович, поможешь сбросить крест.

Дед молчал, крепко зажав в руке кисет с табаком. Заныло сердце – на грех толкают, на богохульство. Не ожидал, что к нему с таким делом придут. Молчание затянулось, милиционер заёрзал на скамье.

– Чего молчишь?

– Дак я плотник, моё дело строить. Я всю жизнь хаты, дворы ставил. А ты такое предлагаешь... На Божий храм руку поднять. Поискали бы кого помоложе, коль вам приспичило. Стар я для таких делов, на такое богохульство у вас есть комсомолыцы. Флаг на храме вместо креста христианского... Это, что, по вашей вере так положено? А вместо Христа Спасителя кого назначаете?

– Ну вот что, чему стоять на церкви – кресту или флагу, это мы, коммунисты, решаем. Это решает советская власть, которая, я вижу, тебе не по нутру. Или опять хочешь с ней потягаться? Сколько давали? Десять? Тебе наша власть поблажку сделала, раньше срока выпустила, а ты от неё нос воротишь? Оставила голым, говоришь? Слушай, дед, а про Соловки ты слыхал? Смотри, определим. За нами дело не станет. Нам это – как два пальца обмочить.

Милиционер встал со скамьи, зло подтянул галифе и, за-

ложив руки за спину, прошел по хате. Заглянул за перегородку в чуланчик. У печи стояли ухваты, на шестке ютились пустые чугушки. Вышел, брезгливо осмотрел скудный домашний скарб. На гвозде висел ношенный-переношенный полушубок, деревянная кровать прикрыта стареньким лоскутным одеялом, стены бревенчатые, лишь кое-где оклеены газетами.

«Да, – подумал милиционер, – хорошо мы его хозяйство подмели в тридцать третьем. Правда, и тогда не густо у него было. Раскулачили для острастки, чтобы другие стали покладистыми. Какой он к дьяволу кулак, лошаденка была одна, и та хромая. Но, видишь ли, не захотел в колхоз. Он ему, понимаешь, как собаке пятая нога... Другие, глядя на него, тоже кочевряжились. Надо было рога-то отбить, чтобы голову пониже держал».

Егор Иванович угрюмо следил глазами за набычившимся милиционером. Подумал – не отстанет. Представил церковь. Белая, статная, освятили её еще до нашествия Наполеона. Высокая с серебристыми красивыми крестами, со звонкими колоколами, богатая внутренним убранством, старинными иконами. Она стояла на высоком берегу реки и потому была видна на много верст окрест. Колокольный звон по большим праздникам плыл над полями и лугами далеко-далеко. Бывало, возвращаешься из дальних мест, устал, впереди еще неблизкий путь, но увидел кресты, зеленый купол Богоявленского храма, и ноги сами идут. Гордились сельчане своей

церковью, построенной князем Несвицким. И вот коммунисты рушат его...

На богослужения в храм он ходил редко, только по большим праздникам. Бога чтил по-своему, а садясь к обеденному столу, непременно крестился на иконы, приговаривая: «Господи! Благослови хлеб наш». Дружил со старым священником отцом Афанасием. Иногда в долгие зимние сумерки они сживали вдвоем в темной хате и беседовали о мудрости Библии, в которой, впрочем, он находил противоречия. В них-то и хотел разобраться Егор Иванович в неторопливой беседе со старым священником.

Ему, с молодости плотничавшему, довелось принимать участие в ремонте храма. Он менял простоявшие больше ста лет дубовые балки в зимней половине, ставил на колокольню новый крест, вместо сваленного ураганом. И вот теперь он должен лишить храм этого креста. А крест в его понимании связывал небо с землей, людей с Богом. «Экая беда нависла, – думал он, – приходится выбирать: или идти против Бога, или против власти. Чем же провинился русский народ перед Господом Иисусом Христом, коль он такие безбожные дела допускает? Как поступить?»

Храм закрыли года полтора назад. Вначале сбросили колокола, потом увезли в район иконы, а батюшку отца Афанасия арестовали. Старый он был, говорят, на этапе скончался, до лагеря не дотянул. Много было разговоров по селу об том. Особенно долго судачили бабы – не могли смириться, что

церковь закрыта. Им казалось, что произойдет чудо, безбожная власть рухнет и храм опять откроют.

Но власть держалась и крепла. В храме сделали клуб, подняли над полом сцену, расставили скамейки. Пляски под гармонь устраивали, спектакли ставили. Особенно усердствовали в этом деле сельские комсомольцы во главе с Ванькой – секретарем их ячейки. Сельский прощелыга, всякой дырке затычка, он еще во время раскулачивания показал себя усердным и жестоким. Ни угрозы мужиков, ни слезы старух его не трогали. Все до последней тряпки старался у раскулаченных забрать. Потом укатил в Москву, да где-то там и сгинул, пропал – ни слуха ни духа.

Очнулся Егор Иванович от резкого окрика:

– Ну что? Тут договоримся или поедем в район, в энкавэдэ толковать будем?

– Ты меня энкавэдой не пугай, я там не один раз бывал. Меня другое страшит – против Бога идти заставляете. В греховное дело меня впутываете, в поругание святого храма. Тебе-то, Егжов, не страшно, не боишься Божьей кары? Сколько по белу свету с сумой пустил? Сколько детей сиротами оставил? Отольются тебе их слезы. Сказывают, у тебя наемд-ни пятый родился, о детях-то подумал бы. Кабы им за отцовские богохульные дела не пришлось расплачиваться.

Милиционер, зло очерившись, хрипло проговорил:

– Слушай, ты, пророк кулацкий, не суйся в мою жизнь. Проживу без твоих проповедей. В последний раз спраши-

ваю – тут договоримся или в район пойдем?

– Плетью, Егжов, обуха не перешибешь. Мне с вами не тягаться. Раз попробовал – теперь по чужим углам перебиваюсь. Без огня дотла сожгли. За последние пять лет только и сделал для себя – нужник во дворе. Вам безропотные нужны да подпевалы, а самостоятельные рукодельные мужики только помеха. А эти, он кивнул в сторону Грача, по пьянке и Россию по миру пустят. Им вся забота напиться да опохмелиться, а село, земля... Они вам построят коммунизм.

У порога закудахтал Ванька Грач:

– Ты, Егорец, кулак недобитый, помалкивал бы... Рано тебя из тюрьги выпустили. Тебя бы на Соловки, как Столяровых. Умник!

Пустые бранные слова сельского пустомели и выпивохи краем задели душу. Вспомнился суд, судьи, слова приговора «десять лет лишения свободы с конфискацией имущества и поражением в правах». Вспомнились провонявшие всем на свете камеры Сасовской тюрьмы...

– Приму, Егжов, грех на душу, – проговорил Егор Иванович ни на кого не глядя, – помогу этим пролетариям. Объясню, как это сделать, покажу на месте – остальное пусть сами. А Бог нам воздаст по делам нашим. Мне за мои грехи, а вам за ваши...

От церкви ушел Егор Иванович уже в сумерках – не дожидаясь, когда сбросят крест. Дорогой услышал глухой удар о землю. На звук не оглянулся. Шел под гору к речке, тяже-

ло переставляя ноги. Вот и мост. Недалеко до хаты, стоящей над оврагом. Остановился у полуразрушенной плотины.

Давно на небольшой, но полноводной речке, руками крепостных крестьян князей Несвицких и Васильчиковых, в несколько приемов построены были плотины, подпиравшие три пруда. Вдоль этих прудов с одной стороны, на которой стояло барское имение, был разбит сад, по берегу росли ветлы. С другой стороны прудов раскинулись поля. Место было редкой красоты... Но пришла новая власть – советская. И все стало вроде бы как народное, а оказалось ничейное, никому не нужное. Плотины разрушились, пруды высохли, барский дом сожгли, сад вырубил, липовую аллею на дрова пустили. Было красивое имение, а теперь пустырь, заросший бурьяном. Всё, что досталось от предков, порушили, а нового ничего не построили.

«Что же это за власть народная такая пустая, – думал Егор Иванович, машинально набивая самокрутку табаком. – Большевики, когда агитировали, обещали равенство, вольную зажиточную жизнь, коммунизм. Кому же я ровня, если даже овцу иметь не позволено? Коль не колхозник, то земля тебе положена только та, что под хатой. Ни огорода, ни покоса, ни скотины. Зажиточная жизнь? Щи с мясом по большим праздникам. Да что мясо? Молоко видим, когда жалостливые соседи кринку принесут. Это и есть коммунизм?

Все князей да помещиков ругают. Всякие, наверное, были. Но вот княгиня Волконская – последняя местная вла-

делица имения, добрая была и щедрая. Школу построила, больницу открыла. Сама крестьян лечила. Как-то в малолетстве сын Санька с забора упал, ноздрю разорвал. Куда идти? К барыне, конечно. Кровь остановила, рану зашила. Потом на перевязку ходил.

Годов за семь до революции пожар случился – лето было сухое, жаркое. Весь конец села за час выгорел, и его, Егора Ивановича, дом тоже. Все в поле были, дома только хозяйка с грудным ребенком. Растерялась. Княгиня прибежала, теленка со двора прямо через загородку перекинула, одежду из хаты помогла вынести. А вокруг огонь. Потом погорельцам помогла деньгами, дала материал для сруба.

Построился, постепенно на ноги встал, и на тебе – здравствуйте, селяне – коммунисты пришли и стали командовать. Колхозы выдумали. Поначалу говорили, что это дело добровольное, а оказалось – или навсегда в колхоз, или на десять лет в тюрьму. Вот такая свобода выбора.

Попытался дед отогнать эти невеселые мысли, поискал глазами мельницу – одна осталась на всю округу. А было три. Мельники, названные кулаками, все трое сгинули в лагерях – собственность, видишь ли, имели. Бросил потухшую сигарку на землю и по тропинке, огибающей бывший огород, а теперь заросший полынью, пошел к хате. Назад не оборачивался, потому как боялся увидеть на куполе вместо креста красную тряпку.

Открыл дверь в сени. На ощупь – в сенях было темно –

привычным движением нашел ручку двери. В чулане за занавеской гремела посудой хозяйка. На печи спал внук Иван, укрытый старым полушубком.

– Э как набегался, – подумал дед, глядя на внука, – хоть стреляй – не проснется.

У двери на вбитый в стену гвоздь повесил старый пиджак – кажись, еще женился в нём, туда же пристроил картуз. Налил в умывальник воды, вымыл руки и медленно вытер их висевшем тут же стареньким полотенцем. Сел на скамью к столу. От печи из-за занавески выглянула хозяйка Любовь Ванифатьевна. Она тревожно посмотрела на хозяина – всклокоченные волосы на голове, борода на бок, глаза провалились. Сидел обмякший.

– Щи будешь хлебать или тюрю сделать?

– Налей-ка щей, да погорячее. Продрог что-то.

Хозяйка открыла заслонку печи, ухватом подхватила чугунок со щами и выставила его на шесток. Налила в миску несколько половников щей, поставила на стол, рядом положила его деревянную ложку. Затем принесла полковриги хлеба домашней выпечки, отрезала несколько ломтей.

Егор Иванович тем временем вышел в темные сени, в настенном шкафу нащупал бутыл с самогоном. Он припас её на случай, если подвернётся привезти из лесу подводу дров. Но сегодня на душе было очень тяжело – внутри как будто все застыло. Бог с ними, с дровами. Тем временем хозяйка успела зажечь керосиновую лампу, осветившую стол, корич-

невые бревна стены, божничку с образами.

– Достань-ка огурцов соленых, – ставя бутыл на стол, сказал он жене. Хозяйка не мешкая спустилась в подпол, зажгла лучину и открыла кадку с огурцами. В нос шибануло острым духом рассола. Огурцы соленые у нее получались лучшие на деревне. Это знали все соседки. Пока хозяйка колдовала с огурцами, Егор Иванович достал с полки «говорунчик» – небольшой стаканчик и налил в него самогона. Хозяйка резала огурцы и искоса наблюдала за своим Егоркой. С болью в сердце видела, как ему плохо – знала, с какого дела он вернулся. Понимала, что лучше разговорами его не доносить.

– Мне к сестре Хретьке сходить надо, побайть кой о чем. Ты теперь справишься один?

Он молча кивнул.

Обычно, садясь к столу, он крестился на образа, приговаривая: «Господи, благослови хлеб наш». Сегодня он не смел взглянуть на иконы и перекрестился, не поднимая глаз. Немного посидел, будто собираясь с мыслями, медленно поднес «говорунчик» ко рту и не спеша выпил. Повременив немного, стал жевать огурцы с хлебом. Жевал вяло, без аппетита. К выпивке он относился равнодушно, выпивал редко, по праздникам или магарыч по случаю, если уладилось дело. Но и тогда не менял привычки – граненый стакан не признавал, пользовался только своим «говорунчиком».

Сидел, жевал и чувствовал – не берет. Тяжесть с души

не уходила. Давила камнем. Налил еще, выпил и принялся за щи. Ел медленно, будто нехотя. Дохлебал щи, выпил еще стаканчик, съел несколько колец огурца и отодвинул миски в сторону. Выкрутил фитиль лампы – в избе стало светлее. Поднял глаза к божничке. В светлом пятне увидел на потемневшей от времени иконе строгий лик Богоматери, а слева скорбное лицо Иисуса Христа на иконе «Моление о чаше».

Прошедшим летом он шел от мельницы – куда заходил по плотницкому делу, мимо церкви. От нее вниз к реке с шумом и гамом уходила ватага молодежи. Храм переделывали под клуб, и комсомольцы проводили воскресник. Двери были открыты настежь, и Егор Иванович зашел в храм. Внутри было как после нашествия татар. На полу валялись обломки иконостаса, обрывки риз, растрепанные книги, разный мусор. Лики святых, изображенных на стенах, были в грубых выбоинах и царапинах – безбожные комсомольцы ковыряли их ломами и лопатами, стараясь повредить лица. Зачем это делали? Так, от баловства. Для них ведь Библия вредная книга, а религия – опиум для народа. Страх перед Богом, уважение к работе старых иконописцев, смысл изображения – все это поповские выдумки и отголоски царизма.

У дальней стены на полу лежала стопка книг и большая, писанная на деревянной доске икона. Егор Иванович поднял доску, повернул изображением к себе и узнал в ней икону «Моление о чаше», прежде стоявшую в верхнем ряду ико-

ностаса. Иисус скорбно стоит на коленях и просит Отца своего Небесного дать ему силы выдержать предстоящие мучения, дать силы достойно испить чашу страдания. Взяв икону и стопку книг, Егор Иванович вышел из храма. Вокруг тоже был разор и безобразие. Часть колокольни уже разобрали, кирпичную ограду тоже. Битый кирпич пошел на выравнивание дорожных колдобин, а целые кирпичи окрестные жители растащили для домашних нужд. На дармовщину мужики жадные – известное дело. С алтарной стороны церкви у апсиды располагалось небольшое кладбище. На нем были похоронены местные зажиточные люди. Теперь надгробные гранитные камни сброшены с могил и как попало валяются на земле. «Что же нас ждет?» – подумал Егор Иванович глядя на этот разор. – У молодежи нет уважения даже к могилам предков. Беспамятство и бессовестность наступают. А каким же человек-то станет? Оскотинится ведь».

Старик продолжал смотреть на божничку, и нахлынули воспоминания. Вот икона Смоленской Божьей Матери в старинном киоте и в золоченом окладе. По праздникам при зажженной лампаде она освещает всю хату. Икона досталась соседу от касимовской барыни Ершовой, отдавшей ее в добрые и надежные руки в дни революции. Знала – все равно заберут новые власти. Позже икона перешла к нему... Ниже – икона Николая Угодника. На деревянной доске, старинного письма, без оклада. Этой иконой мать благословляла его, когда он женился. Давно это было.

И потекли мысли дальше в детство. Оно было нелегкое. Отец остался в детстве круглым сиротой. Жил у родственников, которые и помогли ему встать на ноги. Вырос, женился, свою хатку поставил на задах их огорода. Дети пошли. Он, Егорка – старший, кроме него три брата и сестра. Семья была дружная, работающая. В доме правила порядок мать.

Еще подростком Егорке пришлось ходить с плотницкой бригадой. Во многих селах и деревнях Елатомского уезда – что на реке Оке – по сей день стоят дома, поставленные им со товарищами. А по зиме с отцом портняжничал. Постепенно семья выбилась из нужды, новую пятистенку срубили. Жить стало просторнее.

Пришло время жениться. Привел Егорка в дом из соседней деревни молодую хозяйку. Лицом, статью – не первая красавица, но по дому – лучше не сыщешь, сердцем добрая и работающая. Жили мирно, в совете и дружбе, она от него грубого слова не слышала. Дети пошли, да все сын за сыном – трое. Братья тоже переженились, сообща хаты друг другу ставили. Жили между собой дружно, гуртовались вокруг него, старшего. У него в огороде баню поставили, по субботам все по очереди парились-мылись. Вначале мужики по первому пару, потом бабы с малышкой. Самовар ведечный купили, чтобы после бани чаевничать. Всем места хватало. Соседи смотрели на дружных братьев с одобрением. Все-то у них ладно получается. Только одного Гришку, что жил напротив, зависть одолевала. Ишь, говорил, на селе дом

Романовых появился. После того как свернули голову НЭПу, в 1932 году взялись за крестьян. В колхоз стали загонять – ни один из братьев не записался. Зачем он им сдался, когда есть свой кооператив – братский. Но тут Гришкин час пришел. Он, один из колхозных заводил – комбедовец, суетился и старался больше всех. У самого-то хозяйство плевое было, своя скотина как-то не держалась, а теперь полный двор колхозной скотины образовался. Поди плохо. По селу кобелем бегал: тут поагитирует за советскую власть, там просто лясы поточит.

Но праздник испортили веряевские мужики. В этом соседнем селе народ был дерзкий, вольнолюбивый. Еще при царе-освободителе, перед отменой крепостного права, барин продать хотел все село на выезд. Так они в лес ушли. А теперь против колхоза поднялись. И свои, гридинские, глядя на них, тоже взбунтовались. За колья-вилы взялись, все свеженное в колхоз обратно разобрали. Вот тут-то колхозные активисты, как мужики смеялись, в штаны наложили и кто куда попрятались. Гришка где-то отсиделся. Потом советская власть прислала в село войска, бунт подавили. Несколько самых недовольных большевики пристрелили, горластых под конвоем в Сасовскую тюрьму отвели, а остальных обратно в колхоз вернули.

На печи во сне что-то забормотал внук, привстал и широко открытыми глазами посмотрел на деда. Ничего не сказав,

положил голову на руку и вновь заснул.

Егор Иванович увернул фитиль лампы, а потом совсем задул. Он любил сидеть в темноте и обдумывать свои житейские дела. Да и внуку в темноте спать будет спокойнее. Насушечек достал из кармана кисет с табаком, лоскут газетной бумаги и скрутил козью ножку. Вспомнился суд, пропахшая чем-то казенным большая комната и угрюмые лица судей. Судили его как злого кулака за невыполнение твердого задания по сдаче зерна. Это был повод. Ему нечего было сдавать – у самого до нового урожая не хватало. Советскую власть это обстоятельство крестьянской жизни не интересовало: коль задание выдали – выполни. Не выполнил – под суд, и получи свою «десятку».

В конце заседания судья, мелкий неприятный мужичок с жирным лицом, спросил, хочет ли подсудимый сказать последнее слово. Егор Иванович поднялся со скамьи, снял шапку с головы – в суде было холодно и все сидели одетыми, – обращаясь к судье, заговорил: «Я понял – десять лет с конфискацией имущества и поражением в правах. Но хочу спросить, а вот это имущество – он дотронулся рукой до давно нестриженной и нечесаной головы, не конфискуете, оставите?» Судья прохрипел простуженным голосом:

– Ты, что, издеваешься над народным судом?

– Нет, – ответил Егор Иванович, – не издеваюсь, а интересуюсь. Если голову не конфискуете, а Бог даст – из тюрьмы живым вернусь, опять все наживу. И дом поставлю, и скоти-

ну заведу.

На следующий день Егора Ивановича перевели в Сасовскую тюрьму. В этот же день поутру в его избу ввалились местный милиционер и уполномоченные с пистолетами в кобурах во главе с «красной метлой» – председателем сельсовета. Начали описывать имущество и грузить на подводы. Улицу напротив дома заполнили ближние и дальние соседи – пришли посмотреть, как раскулачивают. Когда со двора повели корову, сноха Танька на шее у нее повисла, «Не отдам!» кричит, а сама вся в слезах. Как без коровы, когда в доме трое малых детей. Шум, гам, слезы. Милиционер корову гонит, районный уполномоченный Татьяну от нее отрывает. Упала Татьяна на землю, запричитала, захлебываясь в слезах. Милиционер перешагнул через нее и повел корову к телеге. Куры тоже попали под конфискацию. Ловить их стали, а они по двору бегают, крыльями бьют, в корзины лезть не хотят. Одна вырвалась и вон со двора. Милиционер махнул рукой – дьявол с ней, пусть остается. Рванулась Татьяна, изловчившись, поймала сумасбродную птицу. Принесла, бросила в корзину: все берите, благодетели. Может, вы и ваш колхоз подавитесь нашим добром.

Уполномоченные по углам шуруют, выносят вещи наружу, бросают на подводы. На полатах лежал узел с приданным дальней родственницы Егора Ивановича, оставшейся сиротой. Жила в людях и принесла приданное, чтобы сохранилось – года подходят, скоро замуж. Полезли на полати, на-

шли узел и забрали.

– Что же вы, окаянные, творите, – кричала хозяйка, – сироту обираете! Она недоедала, недопивала, во всем себе отказывала, чтобы хоть плохонькое приданное справить. Бог вас накажет.

Не повернулись даже, и узелок улетел в общую кучу вещей на телеге.

Закончив конфискацию, уполномоченные ушли со двора, телеги со скарбом уехали, соседи разошлись. А домочадцы Егора Ивановича, растерянные, все еще стояли посреди двора. Куда деваться? Собрались в избе. Дети начали хныкать, захотели есть. Из печи, слава Богу, ничего не унесли, и было что перекусить. А дальше как? Ночь решили провести дома. Принесли со двора соломы, бросили на пол, прикрыли кой-какой одежкой и легли спать. Через несколько дней после суда дом продали на слом – чтоб другим неповадно было. С этого дня началась кочевая жизнь семьи Егора Ивановича.

Сельские власти находили повод выселять его семью из каждого дома, в который они перетаскивали свой немудреный скарб. Кочевали из дома в дом всей немалой семьей: две женщины – сноха и свекровь, да трое детей дошкольников.

Егор Иванович, переведенный в другую тюрьму – в Тотьму, представлял себе, как бедствует семья. Переживал. У него и жилье постоянное есть, хотя и тюремная камера, и худо-бедно кормят. «А каково домашним?» – постоянно

думалось ему. И сыновья вынуждены были уехать из села – их тоже могли посадить. Власть большевистская понимала – надо рубить под корень, а то отростки пойдут.

В тот 1933 год по России в очередной раз прошел голод. Крестьяне, у которых большевики отобрали все зерно – включая посевное – пухли от голода. Хлеб пекли из мякины с лебедой. Он был сырой, тяжелый и совсем несъедобный. Но особенно тяжело жилось раскулаченным. Хлеб выгребли, скотину угнали, вещи забрали.

Егор Иванович посмотрел на спящего внука. Его – двухлетнего – мать Татьяна кормила лепешками, испеченными из муки, которую намололи из корней болотных растений. Для этого она ходила в пойму реки Мокши – «на болоты», стоя по пояс в холодной воде, выдирала толстые корни. Потом сушила и тайком молола на ручных каменных жерновах. Тайком размалывать эти болотные корни приходилось потому, что жернова иметь запрещалось. Советская власть справедливо полагала, что коль есть жернова – значит, есть чего молоть. Лепешки получались съедобные. Тем и питались. И, слава Богу, все выжили. Болели часто, животами маялись, но выжили.

Егору Ивановичу пришли на память его слова в суде: «Все забирайте, только голову да руки оставьте. Со временем все наживу и даже еще больше». Теперь понял – не наживет. Власть советская взяла за горло, дышать не дает – не то что

работать на себя. Даже огород возле дома иметь не дозволено, не говоря о скотине. Хотя, если бы стал колхозником, так там тоже не разживешься – крестьяне имеют не то, что зарабатывают, а что дают начальнички. Государство на крестьянине едет, как на покорной лошади: все отдай, все в город, все для тяжелой промышленности. А колхознику – что останется, перебьется как-нибудь на земле, выживет...

Неожиданно Егора Ивановича отпустили домой. Скорее всего, кормить в тюрьме стало нечем – голод шел по стране. Да и немолод для принудительных работ – шестой десяток шел. Хорошо понимали партийные вожди и вождятки, что такие теперь не опасны для нового режима. Нищие, надломленные – едва ли им захочется власти перечить. Надо семьи как-то прокармливать и детишек для города растить. Вернувшись из тюрьмы, Егор Иванович пытался плотницким делом заняться. Думал на ноги встанет, свой дом приобретет. Пошел в район за разрешением – не дали. И на эту надежду пришлось крест поставить.

Вспомнилась двоюродная сестра Прасковья. Очень набожная была и по темноте своей на выборы в 1937 году не пошла: «За антихриста голосовать не буду», – сказала агитатору. Через неделю старую и больную бедолагу забрали. Кажется, и до суда не дожила, отдала Богу душу. А где братья Столяровы, Малышевы? Кто на Соловках, кто в Кузнецке. Такие слухи ходят. А какие работающие мужики были. Столя-

ровы держали маслобойку. Малышевы – мельницу. Им доход, а селу масло и мука. Что теперь? Нет хозяев, и дела нет. Сгорела маслобойка, догнивает мельница.

В думах и про курево забыл, погасла самокрутка. Нащупал в кармане спички, прикурил. При затяжке красновато осветилась бутылка, стакан-«говорунчик». Выпить еще? После, может... В памяти опять поплыли дни тридцать третьего года. Говорили потом, что на следующий день после его раскулачивания сельчане потянулись в правление колхоза с заявлениями о вступлении. Сосед Варфоломеевич запряг лошадь, закорячил на телегу плуг, борону, хомут запасной, привязал к задку телеги корову и направил оглобли к правлению колхоза. Через час вернулся, как с похорон – темный лицом и злой. Только кнут в руке – больше ничего. Подошел к дому, повертел молча в руках кнут и в сердцах запустил его в заросли крапивы. Резко повернулся и почти бегом направился к сельскому магазину. Купил бутылку казенки, зашел к свату, жившему рядом, да и просидел с ним до позднего вечера. Разговаривали, ругали власть, ходили еще в магазин за добавкой, пьяно плакали. Говорили, что все теперь будет по-другому. Оба боялись будущего, а оно надвигалось как тяжелая грозовая туча.

В хате было темно и тихо. Негромко во сне на печи посапывал внук. Хозяйка все еще сумерничала у сестры. Наверное, обсуждают последнюю новость. Из Иркутской области приехала к матери Пашка Алёшина с четырьмя малыми

детьми. Одному еще и года нет. Мужа ее, агронома, забрали как врага народа. Лошади колхозные в лугах чем-то отравились, все списали на агронома – намеренно отравил. Осудили и отправили на рудники. С правом переписки – одно письмо в год. Жену Пашку исключили из партии, выселили из казенной квартиры – живи, где хочешь. Вот к матери и вернулась. Жаловалась соседке, что ребят хоть на улицу не выпускай – дети живущего напротив милиционера проходу не дают, дразнят врагами народа, бьют.

Почему-то подумалось – как же теперь бабы будут креститься на церковь? У них ведь заведено – проходя мимо храма, останавливаются и творят крестное знамение. А теперь как же? Креститься на красный флаг? Может, надо было отказаться, не брать грех на душу? Но понимал – откажется, заберут. А в его годы было страшно опять в тюрьму, опять на нары. Сплоховал старый...

Снаружи слышались шаги, стукнула щеколда входной двери, в хату тихо вошла хозяйка.

– Чего без света сидишь? Зажги лампу, а то шубу повесить – гвоздя не нащупаешь.

Когда в хате стало светло, хозяйка посмотрела на деда. Хотела понять, пришел в себя, стоит ли разговорами тревожить.

– Сестра говорит, Ванька Грач с Ефимком ходят по деревне пьяные, поют охальные песни и матерятся. Совсем ошалели.

– Поганое дело мы нонче сотворили, – сказал он не поднимая глаз.

– Господь поймет, – вставила старуха, – без его воли ничто не делается. Такое время пришло. Ты сам часто повторял слова из Библии – идет время Хама. Ну вот и пришло.

Старик молчал. На печи заворочался внук. Егор Иванович посмотрел на свернувшегося калачиком мальчишку и вслух тихо проговорил:

– Коммунисты говорят, что ради них, теперешних школьников, строят коммунизм. Но коль командуют этим строительством Гришка да Никишка, у которых одно в голове – где выпить на дармовщину, которые свой-то дом не могут содержать в исправности, – они такое построят, что куры со смеху подохнут. Да шут с ними, с Гришкой и Никишкой, а вот что я отвечу внуку, если он спросит, когда подрастет, что отвечу – зачем красоту порушили, церковь старинную в руины превратили? Подняли руку на Бога, на красоту, лишили людей того и другого.

– Ложись-ка, старый, спать, хватит себя казнить. Как в Библии сказано: время ломать и время строить. Сейчас ломают, Бог даст, придет время, и храм восстановят, и окаянный флаг скинут, и крест будет на своем месте стоять...

Полвека прошло с того вечера. Возле полуразрушенной церкви на пыльной дороге остановилась грузовая машина, из которой вышел городского вида седой мужчина с сум-

кой через плечо. Он сошел с дороги, сделал несколько шагов и остановился, рассматривая руины. Вид храма был жалок. От колокольни кроме нижнего четверика ничего не осталось. У зимней части церкви кровля почти вся провалилась. Тут и там выкрошены кирпичи кладки. Большой купол на восьмерике тоже без кровли. Над куполом торчит полусгнивший дрын – древко от некогда развевавшегося над церковью большевистского флага. Гость прислонился к дереву и задумался.

Вспомнился его дед, который помог сбросить крест с купола этой церкви. И в голове опять возник давнишний вопрос: как мог он согласиться на такое дело? Почему не отказался? Вспомнил его восьмидесятилетним, ослепшим, но с хорошей памятью и ясной головой. Иногда, сидя сгорбленный на скамье, он что-то тихо говорил сам себе. Может быть, просил Господа Бога простить грехи вольные и невольные. И один из грехов, тяготивший его – сброшенный крест.

Вокруг храма из густого бурьяна торчали ржавые остовы сельскохозяйственных машин – сеялок-веялок, комбайнов, плугов. Видимо, была устроена в церкви МТС – машинно-тракторная станция. Картина разрухи и запустения была удручающей. Гость подошел к храму. Убожество его состояния поразило еще больше. Он вспомнил, как ребенком – в самом начале тридцатых годов – приходил сюда с бабушкой к обедне. Ажурная кирпичная ограда, яблоневый сад, небольшая сторожка, кущи сирени, гранитные полирован-

ные надгробия с ангелами – порядок и благолепие. А теперь? Пробираясь между ржавым железом, выбирая место, куда поставить ногу, он обошел церковь. Через большой пролом в стене – прежде там были ворота – он вошел в зимнюю часть храма. Летняя – под куполом – была отгорожена тесовой перегородкой с дверью. На двери висел амбарный замок.

Картина увиденного внутри была ужасна. Закопченные до черноты стены, земляной пол завален хламом и повсюду горы мусора. И это храм! Двести лет – из года в год сюда шли люди для общения с Богом, с молитвой и смирением. Здесь крестили детей и отпевали умерших. Тут было царство покоя и очищения душ. И вот...

Оглядевшись, он увидел старика, который перебирал какие-то железки на стеллаже.

– Добрый день, – обратился гость.

– Здорово, если не шутишь. Не признаю что-то. Из приезжих, наверное?

– Да, приехал навестить малую родину, посмотреть на село, сходить на могилы дедов и прадедов. Давно тут не был – лет тридцать.

– Москвич, судя по обличью.

– Да из Москвы.

– И чей будешь?

Гость назвал себя.

– Ну как же, как же, знакомая фамилия. А как приходишься Ивану Егоровичу? Сын? А я с ним в школе на одной парте

сидел. Давно это было. Как он, жив? Вон что. А я вот еще брожу.

Вышли наружу, присели на полусгнивший ствол поваленного дерева. Старик вытащил из кармана кисет с табаком, закурил и продолжал выспрашивать. Ответам то радовался, то сокрушался. Задумался, глядя вдаль за реку.

– Помню, – вдруг сказал он, как твоего деда раскулачивали. Народа собралось много, хотели посмотреть – что будет, если с властью заспиришь. Танька, твоя мать, не давала корову со двора уводить, кричала: «Оставьте, как же дети без молока». Милиционер отшвырнул ее на землю и повел корову за ворота. А уполномоченный говорит: надо заканчивать эту свадьбу и, уходя со двора, перешагнул через твою мать. Танька ему в след: «На детских и бабьих слезах хотите новую жизнь строить, окаянные. Все у вас прахом пойдет. Чтобы гром расщепал ваши колхозы». Да, покуражилась тогда комбедовская шобла.

– А нельзя ли пройти в летнюю часть церкви, посмотреть, что там? Когда-то там стоял золоченый иконостас, красивая роспись настенная была.

– Иконостас? Настенная роспись? Когда это было... Теперь там склад всякой железной дряни, а я кладовщик. По-тапычем зовут. Пойдем, открою.

Старик, кряхтя, поднялся, нашарил в кармане ключи, подошел к двери и отомкнул замок. Дверь со скрипом открылась. Раскрылся затхлый полумрак. Гость нерешительно

прошел на середину храма, стал под самым куполом. Темно-грязные от копоти стены в некоторых местах кровоточили красным кирпичом выбоин. С пилонов из-под толстого слоя копоти скорбно смотрели лики святых. По высоте храм был разделен грубым дощатым настилом. На немой вопрос гостя старик сказал: «Перекрыли, чтобы зимой улицу не отапливать, вон какой объем».

В настиле вблизи стены виднелся небольшой лаз. Подставив лестницу, гость поднялся под купол. Картина предстала ужасающая. Некогда белоснежные стены были серыми от пыли и копоти, везде грязь, паутина по углам, на досках – полуметровый слой голубинового помета. Видимо, много лет сюда никто не поднимался.

С вершины просторного купола, из заоблачной выси, на сотворенный безрассудным человеком хаос, смотрел Бог Саваоф. Смотрел сурово, но без гнева. Ниже, в алтарной части, ясно просматривалось уходящее под настил большое – в рост человека – изображение Иисуса Христа, распятого на кресте. Нарисовано оно было прямо на штукатурке. Коричневый тон краски создавал тревожное настроение. Над распятием изображен большой сосуд – чаша терпения.

Гостю из детства вспомнилась икона, стоявшая в переднем углу хаты. На иконе был изображен в молитвенной позе Иисус Христос, обращавшийся к Отцу своему Небесному с мольбой дать силы выдержать грядущие страдания. В верхнем углу иконы была изображена испускающая божествен-

ный свет чаша страдания. Икона называлась «Моление о чаше».

Гость долго и внимательно рассматривал изображение распятого Христа и думал, что же произошло с русским православным народом? Почему так просто и даже охотно он отрекся от Бога? Почему так скоро и усердно, по указанию коммунистов, разрушали по всей стране храмы, превращали их в склады, клубы и конюшни. Или просто в загаженные руины. Ладно в городах, где человек оторван от земли, но крестьяне – ближе и к природе, и к Богу. А сельские храмы разрушались особенно варварски. Что же произошло? Видимо, крестьянин слишком очерствел душой, ожесточился, огрубел. Распад атома порождает губительную радиацию, распад человеческой души производит губительный яд расчеловечивания.

Он очнулся от этих тягостных раздумий, когда услышал голос снизу:

– Домой мне пора, хозяйка ждет...

Гость еще раз окинул взглядом храм. С купола, как с неба, смотрел Бог Саваоф, на кресте страдал Иисус Христос, в оконных проемах гугнили голуби. Закопченные, пыльные стены, полумрак, уходящий вверх купол, пустые оконные проемы, мусор, птичий помет под ногами... Перед глазами встал образ иконы «Сошествие во ад».

Выйдя из храма, он направился к селу. Обогнув остатки запущенного сада бывшего барского имения, он оказал-

ся на высоком берегу реки. Перед ним открывался неоглядный простор долины. Вдали, километрах в пяти, темнел лес. К нему уходил ручей с пологими невысокими берегами, переходящими в раздольные поля. А вблизи, по низкому берегу реки, шли дома его родного села.

Он уехал отсюда много лет назад, вскоре после войны, закончив восьмилетку. Когда уезжал – село было большое и многолюдное. А сейчас? Домов мало, и стоят они небольшими группками, далеко друг от друга. Глаза скользили по улице села, искали место, где стоял дом, в котором он родился. Не сразу понял, что через это место проходит шоссе, а дорога и пейзаж изменился до неузнаваемости. У самой дороги оказалась и школа, в которой он учился. Вид ее был жалок: без дверей, без окон. Потом узнал, что она давно бездействует – детей в селе осталось совсем мало и их возят на машине за двенадцать километров в районную школу. Стало горько и за родное село Гридино, которое осталось без детей и без школы, и за деда Егора Ивановича, который строил ее в самом начале двадцатого века.

Седой гость присел на камень и задумался. Что же сделали для крестьян российской деревни коммунисты? Если судить по его родному селу, от которого до столицы всего триста верст по прямой, то только дурное. Перед революцией жителей в селе было более тысячи. Все трудились, кормили себя и город. Сейчас осталось около двухсот – одни старики. Работать некому, пахотные земли заросли бурьяном. Бы-

ли три богатых барских имения. Сейчас и следа их не увидишь. Разрушена церковь, рушится школа. Были три мельницы, сейчас ни одной. Все советские годы село разорялось, люди разъезжались по городам, земли приходили в запустение...

Рано утром, пешком, по пыльной грунтовке уходил он в районный центр, чтобы оттуда добраться до железной дороги. Опять остановился напротив церкви. Она в это раннее утро выглядела еще более разоренной и обездоленной. В голову пришла печальная мысль – она обречена на полное разрушение и уже никогда не будет восстановлена. Село обезлюдело, и тоже обречено – его скоро не будет. Уйдет в небытие история некогда большого сельского поселения, причастного – через своих владельцев, знатных князей – к российской истории. В нем жили люди, создававшие своим трудом красоту неповторимого сельского ландшафта. Все это разрушено при большевиках, все канет без следа.

Отойдя пару километров от села, он остановился, чтобы поклониться старой церкви. Храм на расстоянии казался еще более забытым и безжизненным. В его очертаниях путник увидел горький укор. Седой гость почувствовал вину перед старинным полуразрушенным храмом, перед родным селом, перед памятью предков, живших в нем. Поклонившись храму, он пошел дальше – будто уходя в другое время.

Гридино – Москва, 1998 г.

Тамара Александрова

Леонид Каннегисер: «Умрем – исполним назначение»

30 августа 1918 года в Москве и Петрограде прозвучали два выстрела, оставшиеся в истории. Ранен Ленин. Убит Урицкий. На выстрелы Фанни Каплан и Леонида Каннегисера большевики ответили Красным террором – бессчетные заложники, бессудные расстрелы, моря крови по всей России...

Имя Фанни Каплан, стрелявшей в вождя мирового пролетариата, всем известно, хотя знаем мы о ней немного. Наряду с официальной ходили другие версии (не она, почти ничего не видевшая, стреляла, не ее расстреляли 3 сентября в Кремле...) Но в короткой биографии просматривается логика случившегося. В революцию 1905 года была с анархистами. За участие в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора приговорена к смертной казни. Из-за несовершеннолетия (ей было шестнадцать лет) казнь заменили пожизненной каторгой. В Сибири знакомится с Марией Спиридоновой. Освобожденная Февральской революци-

ей, примыкает к левым эсерам...

Выстрел Леонида Каннегисера поверг в шок родных, друзей, знакомых – круг их очень широк, и всё известные имена, – не верилось, не соединялось: он, Леня, убийца?!

«Помню свою печаль о молодом друге Лене Каннегисере, – пишет Надежда Александровна Тэффи. – За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

– Почему же не у меня?

– Я тогда и объясню почему.

Условились пообедать у общих знакомых.

– Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, – объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. <...>

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп... Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно

было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо».

Леониду Каннегисеру было 22 года – родился в марте 1896-го. Отец – Иоаким Самуилович Каннегисер, известный – не только в России – инженер-механик, кораблестроитель, талантливый управленец. Он стоял во главе крупнейших Николаевских судостроительных верфей. Переселившись в Петербург, по сути дела, возглавил руководство металлургической отраслью страны. В годы первой мировой войны был консультантом в военно-морском ведомстве.

Мать – Сакер Роза Львовна – врач.

Детей в семье трое: Елизавета, старшая, Сергей и Леонид (домашнее имя Лева).

Сергей, окончив с золотой медалью частную гимназию Я. Г. Гуревича, лучшую в Петербурге, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета (группа географии). Принимал участие в геологических экспедициях: Западная Сибирь, Бухара...

Леонид, получивший тремя годами позже аттестат той же гимназии, выбрал Политехнический институт, экономическое отделение.

Каннегисеры богаты, живут открыто. В Саперном переулке, в доме 10 (он отличается от соседей добротностью, архитектурными изысками – изящной башенкой, эркерами) семья занимает две квартиры, соединенные переходом. Огромные залы, камин, европейская мебель, обитые шелком

стены, ковры, медвежьи шкуры – все по моде тех времен, как и один из самых модных салонов.

Среди его завсегдатаев известные поэты, писатели – Михаил Кузмин, Владислав Ходасевич, Николай Гумилев и Анна Ахматова, Тэффи, Георгий Адамович, Марк Алданов, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Николай Бальмонт, пианист, сын поэта, Борис Савинков, эсер-террорист... Читали стихи, слушали романсы, танцевали модные регтайм, чарльстон. Ставили домашние спектакли. В 1910 году – «Балаганчик» Блока (он заинтересовался, узнав об этом, выражал желание посмотреть), «Как важно быть серьезным» Уайльда и «Дон Жуан в Египте» Гумилева...

Салон в Саперном славился не только щедростью приемов. Здесь, по словам Марка Алданова, хорошо знавшего Каннегисеров, «царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами».

Герман Лопатин, революционер, человек-легенда. В 60-е—80-е годы он был практически связан со всеми революционными организациями России. Привлекался следствием по делу Каракозова, покушавшегося на Александра II. Организовал побег Петра Лаврова, философа, идеолога народничества, из Вологодской ссылки за границу. Отправился в Сибирь за Чернышевским. В результате – арест, иркутский острог и... побег! Лопатин – первый переводчик «Капитала». Лично знаком с Марксом, Энгельсом, Бебелем... После

попыток возродить партию «Народная воля», ареста и суда 18 лет провел в одиночках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей...

В один из январских вечеров 1916 года («Над Петербургом стояла выюга...») у Каннегисеров оказалась Марина Цветаева. Здесь она встретила Михаила Кузмина, о котором в Москве ходили легенды, очаровалась, как многие. Через 20 лет посвятит его памяти очерк «Нездешний вечер» (название навеяно книгой стихов поэта «Нездешние вечера»), который будет опубликован в Париже, в журнале «Современные записки».

И мы увидим дом в Саперном, хозяев и гостей в своеобразном ракурсе – взгляд Цветаевой, ее чувства, ее экспрессия.

«Сережа и Лёня. Лёня – поэт, Сережа – путешественник <...> Лёня поэтичен, Сережа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание), <...> а он мне про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как цветок, что можно сделать такими руками? <...>

Отец Сережи и Лёни <...> – высокий, важный, ироничный, ласковый, неотразимый – которого про себя зову – лорд.

– Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал.

Лёня, Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Леня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостинной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку <...> (Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. <...> Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы).

Сижу в той желтой зальной – может быть, от Сережиных верблюдов – пустыне и читаю стихи <...> в первую голову свою боевую Германию:

И где возьму благоразумье
«За око – око, кровь – за кровь»?
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!

Эти стихи Германии – мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи ответа не имеют, имеют обратный успех. Но здесь, – чувствую – попадают в точку, в единственную цель всех стихов – сердце.

Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а все – еще хотят.

Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим ли-

цом в грязь – не ударяю.

Потом – читают все. Есенин читает «Марфу Посадницу», принятую Горьким в «Летопись» и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного гнева. – «Как московский царь – на кровавой гульбе – продал душу свою – Антихристу...» Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим... – это написал? – почувствовал? <...>

Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городец-кий. Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на войне. Читал весь Петербург и одна Москва».

«Я не соглашаюсь с впечатлением Марины Цв <етаевой> о «хрупкости» Лёвы», – протест прозвучал в строках воспоминаний Ольги Гильдебрант-Арбениной, актрисы, художницы, музы Гумилева и Мандельштама. – Он был высокий, стройный, но отнюдь не хрупкий <...> Руки сильные, горячие и доказал он, что может владеть не только книжкой или цветком».

С Олечкой Арбениной случился у Леонида короткий роман. («Он успел объяснить мне в любви и даже сделал предложение...»)

Есть и несколько другой взгляд на Каннегисеров. Нельзя сказать «недобрый». Скорее, взгляд человека не все принимающего в новомодных петербургских нравах. (А Леонид Каннегисер, по словам Георгия Адамовича, «самый петербургский петербуржец».)

Старая знакомая семьи Надежда Германовна Блюменфельд, актриса и театральный художник, рассказывает (рассказ записан ее дочерью, писательницей Натальей Соколовой), как поразил ее стиль жизни Каннегисеров в Петербурге – швейцар, лакеи, «о ком доложить?» «В Одессе они были намного скромнее». (Семья, живя в Николаеве, лето всегда проводила на одесской даче.) Дети надолго приезжали в Одессу и после того, как отца перевели в Петербург. Рассказчица всех троих хорошо знала.

Дочь Елизавета претенциозно называла себя Лулу. «Необыкновенно светская, разбитная и ловкая в разговоре девушка», она с успехом играла роль хозяйки салона, «этаким современной Аннет Шерер». Сережа – «величественный», «важничал, смотрел на всех сверху вниз, умел осадить человека». Он, полагает Н. Б., из «золотой молодежи», Леву больше тянуло к богеме. «Любил эпатировать порядочных буржуа, ошарашивать презрением к их морали, не скрывал, например, что он – гомосексуалист. <...>

Мог преспокойно произнести пошловатую фразу: „Такой-то слишком нормален и здоров, чтобы быть интересным“. Становился все более изломанным и изысканным, петербургским перенасыщенным и утомленным снобом... старался походить на героев Оскара Уайльда, на рисунки Бердслея...»

Так и просится клише: «продукт времени». Серебряный век – бурный, расцвет литературы, искусства, взлет раскрепощенных талантов – отличался еще и «вавилонскими» нравами. Жизнь втроем (такие союзы не были тайной – читайте мемуары), гомосексуальные связи – греховная мода. Пожалуй, слово «греховная» – лишнее: скучная «нормальность» не приветствовалась. И отношения Леонида и Сергея Есенина окружающие склонны были воспринимать не просто как «неразливную» дружбу.

У девятнадцатилетнего Каннегисера был бурный роман с тридцатилетней поэтессой Палладой. (Имя Паллада, как и отчество Олимповна – настоящие: в роду Старынкевичей традиционно давали детям греческие имена). Единственный сборник стихов «Амулеты» она издала под фамилией Богданова-Бельская. Фамилии часто менялись, в соответствии со сменой мужей. Любовникам несть числа. Один студент застрелился под ее портретом, другой, как говорят, у нее на глазах, на виду у прохожих.

Она считала себя «демонисткой». Ахматова называла это иначе: «Гомерический блуд».

Красавицей Паллада не была, но была, по свидетель-

ству современников, «неповторима, это больше!» Одетая всегда вызывающе: ярко-малиновые, ядовито-зеленые накидки, шелка, кружева, хризантемы, перья, ленты... На ногах браслеты.

В журнале «Аргус» вела рубрику *«Горячие советы о красоте дамам и джентльменам»*.

Она еще при жизни стала героиней мемуаров. Ей посвящали стихи известные поэты. Многие имена в строках Игоря Северянина:

Уродливый и бледный Гумилёв
Любил низать пред нею жемчуг слов,
Субтильный Жорж Иванов – пить усладу,
Евреинов – бросаться на костёр...
Мужчина каждый делался остёр,
Почуяв изощрённую Палладу...

На молодого Каннегисера была обрушена неистовая страсть: «Есть тысяча способов добиться любви женщины и ни одного, чтобы отказаться от нее!...»

В 1928 году в Париже родственники издали книгу Леонида Каннегисера – стихи, рецензия на сборник Ахматовой «Четки», воспоминания друзей об авторе.

«После Лёни осталась книжечка стихов, – написала Марина Цветаева, – таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности –

поверила».

Понял Марк Александрович Алданов. В 1923 году в «Современных записках» была опубликована его работа «Убийство Урицкого. К пятилетию». Ее можно определить как очерк-исследование. Факты, слова взвешены, сказывается ответственность автора исторических романов.

«Я хорошо его знал. <...> То, что я пишу, не история; а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не выдавший ни Каннегисера, ни Урицкого.

Я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов, самый грешный из всех городов мира...

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. <...> Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться...

Этот баловень судьбы <...> был несчастнейший из людей. О подобных ему сказано у летописца: «Никто же их бияше, сами ся мучаху».

Алданову были переданы выдержки из дневника Леонида. Он начал свои записи в 1914 году. Война застала его в Италии. Ему хотелось пойти на фронт добровольцем – родители его не пустили. Желание, как у всех мальчиков. Но было еще и другое.

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом, безусловно, будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: „иду!“ Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: „вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия“. А вечером опять буду перерешать... Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь и ничего не делаю. Другие, по крайней мере, работают на пользу раненых».

Он тоже попробовал. На вокзале одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При нем сняли повязку, он увидел на его ноге страшную шрапнельную рану: изуродованное, изрытое человеческое тело. Содрогнулся, потемнело в глазах, подступила тошнота. Собрался с силами, чтобы не упасть, вышел на воздух, пошатываясь. «И это может грозить – мне...» И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: «Мне не грозит ничего», и тогда я знаю: «Я – подлец!»

Февральская революция его захватила. (А кого же она не захватила? Только отрезвление наступало быстро.) В июне 1917 года он поступил добровольцем в Михайлов-

ское артиллерийское училище. Исполнял обязанности председателя союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. В ночь с 24 на 25 октября вместе с другими юнкерами пошел защищать Временное правительство. Был задержан, но быстро отпущен, успел на II, исторический, съезд рабочих и солдатских депутатов, где объявили о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. Ленин произвел на Каннегисера «потрясающее впечатление».

Но если и было какое-то увлечение идеями Октябрьской революции, то разгон Учредительного собрания, заключение Брестского мира, который многие восприняли как предательство России, массовые аресты, расстрелы вызвали жгучую ненависть к большевикам, и Леонид с весны 1918 года участвует в конспиративной работе.

Петербург в ту пору кишел заговорщиками. Алданов знал нескольких молодых людей, офицеров и юнкеров, принадлежавших к тому же кружку, что и Каннегисер. Знал его близкого друга, офицера Перельцвейга. Они не были ему близки ни в политическом отношении, ни в психологическом, но «более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса» ему никогда видеть не приходилось. Заговорщиками они были странными: конспирация по-детски серьезная и по-детски наивная. Леонид ходил летом 1918 года с двумя револьверами и каким-то ящиком, с которым обращался бережно и подчеркнуто таинственно... Вро-

де бы предполагал взорвать Смольный... То, что их всех не переловили в день образования кружка, можно объяснить лишь неопытностью сыска новой власти.

Летом в ЧК по доносу открыли дело о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище. Арестовали нескольких офицеров и курсантов. Шесть человек расстреляли. Среди них был Владимир Перельцевейг.

Гибель друга страшно потрясла Леонида и, по всей видимости, стала непосредственной причиной совершенного им убийства.

Убийца. Ужасное, несмываемое клеймо. Но не превращает ли преступника в героя личность убитого?

Алданов, подчеркивая свою беспристрастность, как мог, собрал сведения о Моисее Соломоновиче Урицком, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей Северной коммуны – объединения северо-западных губерний России. Урицкий «всю жизнь» был меньшевиком.

Многие годы провел за границей. Вернувшись в Россию после Февральской революции, осматривался. Летом 1917 года еще нельзя было сказать, ждет ли большевиков победа. Но зато было очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов вообще нет никакого будущего. Урицкий подумал – и, как Троцкий, стал большевиком.

В дни октябрьского переворота он был членом Воен-

но-революционного комитета. Затем – комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности «вел себя крайне нагло и вызывающе». Новое повышение в чине – пост народного комиссара Северной коммуны по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела – это прежде всего руководство ЧК.

Заурядная личность и громадная власть, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда, ничем, кроме «революционной совести», огромные безграничные средства, штаты явных и секретных сотрудников – это несоответствие оказалось за гранью добра и зла. «У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы серпом, дробить черепа молотом!..»

Он был неприятен, антиэстетичен, карикатурен внешне, но смеха не вызывал: каждый день он подписывал смертные приговоры.

После расстрела Перельцвейга Леонид почти не бывал дома, не ночевал. Накануне убийства Урицкого зашел под вечер. Обедали. Потом он предложил сестре почитать вслух – у них это было принято – «Графа Монте-Кристо». Начал с середины, с главы о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь романа. Читал с увлечением до полуночи. Затем про-

стился и ушел. (Сестре суждено было еще раз увидеть его – издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.)

Рано утром пришел пить чай. Постучал в комнату отца, который был нездоров и работал дома. Они сыграли партию в шахматы. Сын играл так, словно что-то связывал с исходом партии, что-то загадал: удача – провал? Он проиграл, что чрезвычайно его взволновало. Отец, почувствовав это, предложил вторую партию, но Леонид посмотрел на часы и отказался.

Он надел кожаную, еще юнкерскую куртку, простился с отцом (они больше никогда не увидятся) и ушел. На Марсовом поле взял напрокат велосипед и поехал к площади Зимнего дворца. Перед одним из подъездов левого полукружья здания Главного штаба он остановился – здесь, в министерстве внутренних дел, принимал Урицкий.

Было двадцать минут одиннадцатого.

Он вошел в подъезд. В большой комнате, напротив входной двери, находились лестница и лифт.

– Товарищ Урицкий принимает? – спросил Каннегисер у швейцара.

– Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Ждал. Вдали слышался рокот мотора. Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий, войдя, направился к лифту. Посетитель в кожа-

ной куртке поспешно сделал несколько шагов к нему – грянул выстрел. Шеф «чрезвычайки» упал без крика, убитый наповал. Убийца бросился к выходу...

Если бы Каннегисер положил револьвер в карман, если бы спокойно пошел пешком налево (сослагательное наклонение Марка Алданова, как причитание), он легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую, смешавшись с толпой на Невском... Но он потерял в ту минуту самообладание. Все вышло не так. Не выпуская из рук револьвера, он вскочил на велосипед и понесся вправо – к Миллионной улице.

В комнате, где произошло убийство, через минуту поднялась суматоха. Прибежавшие на выстрел служащие комиссариата остолбенели перед телом Урицкого, не понимая, что произошло. Наконец один человек вспомнил об убийце и с криком бросился на улицу, за ним побежали другие. Помчался в погоню автомобиль с солдатами...

Вот-вот убийцу могли настичь. Около дома 17 он соскочил с велосипеда и бросился во двор. В отчаянии вбежал в какую-то дверь и понесся по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова (это потом выяснится) была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице... Внизу его схватили.

Уже 6 сентября петроградские газеты публикуют сообщение ЧК: расстреляно 512 контрреволюционеров и белогвардейцев. Тут же – список заложников, продолженный в трех следующих номерах газеты – 476 человек, очередь к смерти: если будет убит еще хоть один советский работник, заложников расстреляют.

«В эту эпоху мы должны быть террористами! – восклицал на заседании Петроградского совета его председатель Григорий Зиновьев. – Да здравствует красный террор!»

В сводном списке «лиц, проходящих по связям убийцы Каннегисера» 467 человек!

Карательная сеть загребла близких (даже восьмидесятилетнюю бабушку) и дальних родственников, друзей, знакомых, служащих из конторы отца, всех, чьи имена оказались в телефонной книжке Леонида...

Сообщников у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, следствию не удалось их обнаружить, несмотря на желание властей.

При допросе Каннегисер заявил, что убил Урицкого по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и расстрел своего друга Перельцвейга. Дзержинскому, специально приехавшему из Москвы, сказал то же самое. «На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо... из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побужде-

нию».

Алданов считает, что психологическая основа акта была, конечно, сложнее, чем месть за друга, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств: горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее работодателям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых; и дух самопожертвования...

И еще, возможно, был живой образец – Леонид преклонился перед личностью Лопатина.

Когда Роза Львовна Каннегисер была выпущена из тюрьмы, ей в тот же день сообщили, что Лопатин умирает. Она немедленно отправилась в больницу. Герман Александрович был в полном сознании, сказал, что счастлив увидеть ее перед смертью.

– Я думал, вы на меня сердитесь...

– За что?

– За гибель вашего сына.

– Чем же вы в ней виноваты?

Лопатин промолчал. Он скончался через несколько часов. Едва ли он мог обвинять себя в чем-то другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с молодым человеком, – он очень его любил.

Леонид Каннегисер был расстрелян в начале октября, точная дата неизвестна.

В годы перестройки было извлечено на свет из особого архива ВЧК 11 томов его дела – с ним знакомилась прокуратура. Среди протоколов допросов, разного канцелярского мусора сохранились листки с записями Леонида в одиночке.

Письмо князю Меликову. «Я обращаюсь к Вам, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения, и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову... Бесконечно прошу Вас простить меня!»

Стихотворные строки – перечеркнутые, исправленные.

Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.

Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.

Прощание. «Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы».

Ознакомившись с делом, прокуратура вынесла вердикт: «Реабилитации не подлежит». Преступник-террорист.

Себялюбец, честолюбец, возмнивший себя героем, – как мог он не подумать о том, сколько крови прольется после его выстрела?!

И все-таки что-то в душе протестует против клейма «преступник-террорист», которое не допускает прощения. Какой же он преступник, если убил убийцу? Хочется согласиться с защитником Марком Алдановым: «Людей в политике судят не только по делам, – их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел», – но тоже что-то мешает. Наверное, короткая реплика Осипа Мандельштама, которую он произнес, когда узнал о выстреле Каннегисера: «Кто поставил его судьей?»

Р. S. Судьба близких Леонида Каннегисера.

Брат Сергей покончил жизнь самоубийством после Февральской революции: был в списках осведомителей поли-

ции – боялся, что про это узнают. Иоакима Самуиловича в 1921 году арестовывали еще раз: стараясь сделать из него соучастника преступления сына. В конце концов, семью выслали из страны. Отец умер в Варшаве, мать – в Париже. Сестра Елизавета в 1943 году была интернирована из Ниццы в Германию, сгинула в Освенциме.

Леонид Каннегисер

Для Вас в последний раз, быть может...

Для Вас в последний раз, быть может,
Мое задвигалось перо, —
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!

Я Вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На Вас тоску лишь наводил.

И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец:
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец.

О, кровь семнадцатого года!

О, кровь семнадцатого года!

Еще бежит, бежит она —
Ведь и веселая свобода
Должна же быть защищена.

Умрем – исполним назначенье.
Но в сладость претворим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.

Пойдем, не думая о многом,
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждет нас за порогом,
Умрем – бессмертны станем мы.

Лина Тархова

Кто вы, русский мистер «Х»?

Саша Феклисов

Над одним из столиков фешенебельного вашингтонского ресторана «Оксидентал» висит табличка, на металле несколько строк: «В напряженный период Карибского кризиса (октябрь 1962 года) таинственный русский мистер „Х“ передал предложение о вывозе ракет с Кубы корреспонденту телекомпании „Эй-Би-Си“ Джону Скали. Эта встреча послужила устранению возможной ядерной войны». Выше – портрет Джона Скали.

Почему на табличке нет имени второго участника встречи, как нет и его портрета? Кто этот русский мистер «Х»? И была ли таинственная встреча, информация о которой отлита в бронзе, на самом деле?

Да, была. Джон Скали, звезда американской тележурналистики, человек, приближенный к семье Кеннеди, общался за «историческим» столиком с резидентом советской политической разведки в Вашингтоне Александром Фоминым, подлинное имя – Феклисов Александр Семенович.

«Эти мужчины средних лет, – рассказывает Акоп Пого-

сович Назаретян, доктор философии, руководитель центра Мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН, – были парнями реальными. Экспансивный италоамериканец из Бостона и флегматичный уроженец Рогожской заставы за столиком ресторана не философствовали о дружбе между народами, а деловито и прицельно спасали цивилизацию планеты Земля».

На календаре 26 октября 1962 года. На Кубу уже переброшен 40-тысячный контингент наших военных, почти завершен монтаж 42 ракет с ядерными боеголовками, нацеленными на США, каждая способна долететь и до Вашингтона, и до Нью-Йорка. Это ответ СССР и Кубы на действия Америки, жаждавшей удушения кубинской революции – американцы боялись, что Куба заразит своими идеями всю Латинскую Америку. Генералы требуют от молодого президента Кеннеди захвата острова Куба и свержения правительства Кастро. Карибский кризис.

Мир на грани третьей мировой войны. Побоище удаётся предотвратить усилиями всего нескольких десятков человек. Среди них – полковник внешней разведки Александр Семенович Феклисов.

Дочь Феклисова Наталия Александровна узнала о тайной работе отца уже взрослым человеком. «В сорок девять лет, – рассказывает она, – я впервые услышала, что отец занимался разведкой, работал с такими людьми, как Юлиус Розенберг и Клаус Фукс... Я была ошелоmlена. В школе нам рас-

сказывали о жестокости американского суда, без доказательных обвинений казнившего супругов Розенберг на электрическом стуле. Но даже представить себе не могла: отец встречался с этими людьми и даже считал Юлиуса Розенберга своим другом! Об этом дома никогда не было ни слова, ни намека. Мы с сестрой знали: отец – сотрудник МИДа. Он очень любил фильм „Семнадцать мгновений весны“ и не раз его смотрел. Да ведь его жизнь – материал для нескольких таких фильмов!»

Разведчиком, как говорит сам Феклисов в документальном фильме «Карибский кризис глазами резидента», он стал случайно. «Для меня предложение пойти в разведшколу было как снежный ком, упавший на голову июньским днем. Отец был стрелочником на железной дороге, я в детстве мечтал стать помощником машиниста, ну, может, даже машинистом».

Он оканчивал Институт инженеров связи, когда ему как одному из лучших студентов предложили перейти в ШОН – школу особого назначения. Ну что ж, разведка так разведка, подумал Александр, не осознавая, насколько мобилизация в КГБ изменит его жизнь.

Школа размещалась в лесу, в небольшом двухэтажном здании, обнесенном забором. Условия, обстановка – все было непривычным, почти роскошным. Комната – на двоих, кровать – настоящая, с теплыми одеялами. Перед кроватями – коврики! Все это настолько отличалось от привычной

Александр у обстановки – зимой он спал на сундуке за печкой, летом в сарае на дровах – что жизнь показалась просто райской. Стипендия 500 рублей (такую получали сталинские стипендиаты), приличный костюм, пальто, да еще и шляпа!

Когда он, одевшись во все новое, явился домой и положил на стол четыре сотни рублей, родители испугались. После бессонной ночи решили с сыном серьезно поговорить.

– Саша, нас очень беспокоит, что у тебя появились большие деньги. Ты хорошо одет, не бываешь дома целыми неделями. Не занялся ли ты какими черными делами?

Этого парень не ожидал. Но рассказать про школу не имел права. И стал что-то сочинять про работу радиоинженером в секретном НИИ, которое находится за городом... Чувствовал: ему не верят. И лишь потом догадался показать родителям карточку кандидата в члены ВКП (б), где указывалось, с какой суммы он платит взносы. Только это убедило отца и мать, что сын ведет честный образ жизни.

Уже через год, в 1941-м, его стали готовить к командировке в США. Наталия Александровна до сих пор удивляется: как могли отца послать в Америку? Все обстоятельства противоречили серьезности миссии. Слишком молод. Языка почти не знает. Глуховат. В юности, когда загорелся барак, где жила семья Феклисовых, он всю ночь спасал людей и под утро повалился спать прямо на холодную землю. Проснувшись, не сразу понял, что одно ухо не слышит.

И главное препятствие – не женат. В те годы всех отъез-

жающих в командировку за границу принимал нарком иностранных дел В. М. Молотов. «Как же это вы, голубчик, на холостом ходу? – удивился нарком. – Мы ведь неженатых не посылаем за границу, тем более – в США. Вам там сразу подберут красивую блондинку или брюнетку – и провокация готова». Поездка могла сорваться, но за Феклисова вступился кадровик, досконально изучивший личность кандидата. Парень – трудяга, способен работать сутками, всегда добивается поставленной цели. Да, не имеет опыта работы, но в Нью-Йорк необходимо срочно послать человека. В мире идет вторая мировая война, а наша резидентура в деловой столице США состоит всего из двух человек – репрессии тридцатых годов гильотиной прошли по всем кадрам внешней разведки в Америке и Европе. Первое задание начинающему разведчику – установить двустороннюю связь с Москвой. Каким образом? Это он должен решить сам, уже на месте.

В Нью-Йорке Феклисову – стажеру генконсульства СССР Фомину – предоставляют жилье в невысоком доме, окруженном многоэтажками. Парень покупает в дальнем штате несколько бамбуковых шестов, какими пользуются спортсмены при прыжках, скрепляет их муфтами, ставит на растяжки – и между Нью-Йорком и Москвой протягивается невидимая нить.

Довольно быстро он исправляет в анкете графу «не женат». Наталия Александровна показывает фотографию кра-

сивой молодой женщины. «Это мама в год их знакомства. В Нью-Йорк прислали для работы в Амторге десять девушек, окончивших в Москве иняз. Самой привлекательной была Зина Осипова. Отец говорил, она сразу очаровала его своими васильковыми глазами».

Зина стала не просто женой, а и помощницей. Зная английский язык, она могла заговорить, отвлечь жену любого гостя в компании. Женщины обсуждали новинки моды, а мужчины в сторонке говорили о своем.

«Отец умел расположить к себе человека. За время работы, это мы позже узнали, у него было 14 агентов-иностранцев. Он никогда не называл их агентами, а только друзьями. Много позже он сделал в своей квартире на Большой Грузинской „тайник дорогих вещей“, как он их называл, видимо, на случай, если в дом влезут воры. Как-то достал при нас с сестрой старый потрепанный бумажник. „Подарок друга“, – сказал, но какого, не назвал». Среди друзей были люди, сотрудничество с которыми ввергло Феклисова в самую сердцевину исторических событий.

Юлиус Розенберг и Клаус Фукс

Юлиус Розенберг, радиоинженер, убежденный антифашист, идеалист, считал своим долгом бескорыстно помогать советскому народу, который нес основную тяжесть борьбы против фашизма. Он работал на фирме «Эмерсон», изготов-

лявшей радиоэлектронную продукцию для военных нужд, и ежемесячно передавал Александру ценную информацию, а в конце 1944 года сумел даже доставить тяжеленный образец нового радиолокационного взрывателя.

Этот эпизод заслуживает подробного рассказа. Накануне Рождества они договорились ненадолго встретиться утром в кафе. Разведчик приготовил Розенбергам подарки: мужские часы «Омега», модную сумочку из крокодиловой кожи и плюшевого медвежонка для сына. Он пришел на встречу заранее и видел, как Юлиус вошел в кафетерий с большой коробкой, которую поместил на подоконник. Убедившись, что вокруг нет ничего подозрительного, Феклисов тоже вошел в кафетерий и поставил свою красиво упакованную коробку рядом с коробкой друга.

За кофе они обменялись парой фраз и разошлись. Юлиус не предупредил, какой особенный подарок он приготовил другу. «Подарок» оказался настолько тяжел, что разведчику пришлось брать такси. В резидентуре с ужасом смотрели на аппарат и ломали головы: как агент умудрился вынести такую габаритную вещь с секретного предприятия? Это неслыханное нарушение всех инструкций! Агент мог провалить и себя, и резидента!

Когда при следующей встрече Феклисов передал все это Юлиусу, его красивое усатое лицо покраснело от смущения. Он всего лишь хотел сделать что-нибудь в помощь героическому советскому народу. «Как партизаны, особенно жен-

щины, спят зимой в лесах? Это для меня непостижимо! Я должен им помогать».

Безумная храбрость иногда побеждает. Эпизод с новым радиолокационным взрывателем не был замечен контрразведкой. А в СССР его потенциал оценили должным образом. Совет министров постановил создать специальное КБ для дальнейшей разработки устройства и срочно наладить его производство. Американский образец был усовершенствован, и именно он 1 мая 1960 года «помог» сбить на Урале американский самолет-шпион «Локхид У-2», пилотируемый летчиком Гарри Пауэрсом.

...В 1950 году, завершив свою миссию в Лондоне (1947—1950 годы), уже в Москве, Феклисов с ужасом читал материалы об аресте и следствии по делу Юлиуса и Этель Розенбергов. Они обвинялись в передаче противнику атомных секретов и были приговорены к смертной казни на электрическом стуле. На основании каких доказательств? Младший брат Этель Розенберг, работавший слесарем-механиком в гараже на одном из предприятий проекта «Манхэттен» (атомный проект США), передал Юлиусу два грубых рисунка какого-то прибора, о котором не мог сказать ничего конкретного, и пару чертежей, а точнее – карандашных набросков, их один из создателей американской атомной бомбы Гарольд Юри назовет «скорее детскими рисунками, чем чертежами».

Мало того, что передача чертежей не имела смысла –

именно этот человек, брат Этель, предал Розенберга. Юлиус горячо рекомендовал его Феклисову, а того одолевали серьезные опасения — «кандидат» в агенты молод, насколько устоялись его политические взгляды? Сумеет ли он в случае провала проявить стойкость? Юлиус был убежден, что его шурин стопроцентно надежный парень, он не подведет. «Ведь он же наш родственник! Я даю свою правую руку на отсечение, если такое случится!»

...Стоило Юлиусу признать вину хоть частично, и это сняло бы угрозу смертной казни. Но кодекс чести революционера-подпольщика не позволял этого сделать.

Феклисов вспоминал их последнюю встречу в августе 1946 года. Командировка «Александра Фомина» в США заканчивалась, и он должен был предупредить об этом своего друга. От неожиданности Юлиус несколько секунд не мог произнести ни слова. Наконец, проговорил: «Как же это так? Почему вы уезжаете от меня?» Феклисов объяснил: срок его командировки по линии МИДа истек, оставаться здесь дольше — значит, навлечь на себя подозрения ФБР.

На душе разведчика было грустно от сознания того, что он расстанется с человеком, который в течение нескольких лет бескорыстно шел на огромный риск ради помощи стране, которой восхищался. Для прощальной встречи они выбрали венгерский ресторан «Золотая скрипка» в западной части Манхеттена. Заказав бутылку португальского вина, они вспоминали самые удачные эпизоды совместной работы.

Юлиус говорил о том, как мечтает приехать в СССР: он хочет сам увидеть ту жизнь, которую знает по чужим рассказам.

Они прислушивались к великолепной игре скрипача, ходившего между столиками. Обоим особенно понравилась мелодия грустной песни, она называлась «Журавли улетают». Юлиус передал музыканту купюру и попросил позже еще раз ее исполнить.

Время истекало. Кофе был допит. Юлиус кивнул скрипачу, и вновь зазвучала берущая за душу мелодия. На улице Александр еще раз повторил с агентом пароль для нового связного. Они обнялись, поцеловались и пошли, каждый своей дорогой...

Два с лишним года за жизнь супругов боролись миллионы людей, их не убеждали материалы следствия. Но никто и ничто не могло спасти Розенберга. Почему? Точка зрения лауреата Нобелевской премии академика А. Д. Сахарова, «отца» советской водородной бомбы: «Смертный приговор Юлиусу Розенбергу – это реванш, это месть контрразведки США за ее поражение в деле Клауса Фукса, который по идейным соображениям передал СССР во время войны и после нее важнейшие ядерные секреты». Клаусу Фуксу удалось выскользнуть из рук ФБР, и за это отомстили Розенбергам. Жене Юлиуса инкриминировали то, что она «вдохновляла» предателя интересов США.

Только много лет спустя Феклисову удалось узнать по-

дробности последних минут жизни своих американских друзей. За два часа до казни Этель Розенберг написала своим малолетним сыновьям: «Всегда помните, что мы невинны и не могли пойти против своей совести». Она попросила адвоката передать своим мальчикам с этим письмом ее медальон с Десятью заповедями, цепочку и обручальное кольцо, как знак их «неумирающей любви».

Перед казнью, назначенной на восемь часов вечера 19 июня 1953 года, Этель и Юлиусу позволили увидеться в последний раз. В камере стоял телефон прямой связи с министерством юстиции. Можно было снять трубку и сказать несколько нужных слов. И жизни их были бы спасены, и дети не стали бы сиротами. Они этого не сделали. Розенберг боялся бросить тень на страну, которой восхищался.

В 20:00 Юлиус вошел в камеру. В 20:06 он был мертв. Через несколько минут в камеру смерти ввели Этель. На ее лице не было ни страха, ни тревоги. Перед тем, как сесть на электрический стул, она протянула руку к сопровождавшей ее надзирательнице, притянула к себе и поцеловала в щеку. «Это был ее прощальный поцелуй, который она посылала своим детям, родным, друзьям и самой жизни на нашей грешной земле», – напишет потом Феклисов.

Всю свою долгую жизнь он задавал себе вопрос: почему СССР не сделал даже попытки спасти своих бескорыстных и преданных друзей? Не заявил во весь голос: атомных секретов они СССР не передавали!

Это разведчик Фомин знал совершенно точно. Потому что именно он в Лондоне в 1947—1949 годы встречался с гениальным физиком Клаусом Фуксом – тем самым человеком, дело которого упоминает академик Сахаров и который сдал СССР основную научную информацию по созданию ядерной бомбы в США и Великобритании. Фукс лично участвовал в создании этих бомб и был убежден, что мир может спасти от самой разрушительной в истории человечества войны только паритет в области ядерного вооружения.

Они встречались с Феклисовым в самый разгар холодной войны и бешеной антисоветской пропаганды. Только огромное мужество и крепкие нервы позволили ученому продолжать то, что он бескорыстно, по собственной инициативе начал в 1941 году.

Из встреч с этим агентом больше всего запомнилась Феклисову первая. Ее запланировали в пивном баре на окраине Лондона. За стойкой разведчик увидел человека, читающего газету. Перед ним стоял наполовину пустой стакан с пивом. Феклисов тоже заказал пиво и положил перед собой «обусловленный» журнал так, чтобы его мог видеть агент. После этого Фукс, держа стакан в руке, подошел к щиту с фотографиями известных английских боксеров. Там несколько любителей пива уже обсуждали достоинства спортсменов. Фукс произнес: «Брюс Вудкок – самый лучший боксер Великобритании за все времена». Феклисов ответил: «Томми Фарр значительно лучше Брюса Вудкока». Пароль – отзыв.

Работа началась.

За полтора года контактов Клаус Фукс передал Юджину, так Феклисов назвал себя при первой встрече, материалы, содержавшие детальные данные о химическом заводе по производству плутония; планы строительства заводов по разделению изотопов; принципиально новую схему водородной бомбы и теоретические данные на нее; результат испытаний американцами урано-плутониевых бомб; справку о состоянии англо-американского сотрудничества в деле производства атомного оружия. Он спешил, зная, что США готовятся испытать свою бомбу на людях.

Испытание советской плутониевой бомбы 29 августа 1949 года стало общемировой сенсацией. Этот взрыв означал конец американской атомной монополии. Каким чудом страна, истощенная войной, смогла так быстро создать атомное оружие? И как это грандиозное событие прозевали разведки США и Англии?

Ответы на эти вопросы искали разведки обеих стран. Анализ проб воздуха в районе взрыва советской «беби» показал: заряд был плутониевым, аналогичным американской бомбе. Ниточка в конце концов привела к Клаусу Фукусу. Он был арестован.

Спустя много лет академик Ю. Б. Харитон открыто признал: первый советский атомный заряд изготовлен по американскому образцу с помощью подробных сведений, полученных от Клауса Фукаса и других агентов. Это перестало

быть строго охраняемым секретом, и в 1996 году шести нашим разведчикам-атомщикам было присвоено звание Героев России, в их числе Александру Феклисову. Награда нашла героя через 46 лет.

В отличие от Юлиуса Розенберга, Фукс признал, что сотрудничал с советской разведкой, передавал материалы, связанные с атомным проектом. Его приговорили к 14 годам тюрьмы. Английский суд, в отличие от американского, действовал в соответствии с буквой закона. Да, Фукс передавал секретные сведения СССР, но во время войны эта страна была не врагом, а союзником Англии. Итого – 14 лет и ни дня больше.

«Шпиона века» выпустили из тюрьмы через девять с половиной лет за примерное поведение. И тут же английское правительство предложило ему работу в одном из университетов Великобритании или Канады. С таким же предложением обратился к ученому и представитель СССР.

Не медля ни дня, он улетел в Берлин, в ГДР. Ему было сорок семь лет, впереди ученого ждала долгая, яркая жизнь. Фукс возглавил Институт ядерной физики, вскоре стал академиком, получил государственную премию первой степени, женился, окупился в общественную жизнь.

Человек, чью помощь нашей стране трудно переоценить, умер, не дождавшись, что Советский Союз признает его заслуги. Страна наша скоро на расправу и скупа на благодарность. «Что же вы так поздно пришли? – спросила Фекли-

сова вдова Фукса, когда в 1989 году Юджин смог приехать в ГДР. – Клаус двадцать пять лет ждал вас. В последние годы он думал, что все те товарищи, кто знал его, уже умерли».

Что он мог ей ответить? Что в СССР важные решения принимаются только на уровне политбюро?

Александр Фомин

А между тем однажды он принял ответственнейшее решение именно на уровне политбюро.

«Отец, – говорит Наталия Александровна, – молчал о событиях вокруг Карибского кризиса много лет. Однажды только было что-то вроде намека, но я тогда по молодости ничего не поняла. Он дал мне два билета в театр Сатиры на спектакль по пьесе Бурлацкого „Бремя решений“. Сказал: „Это с Андреем Мироновым, может быть интересно. А я пойти не могу“. Мы с подругой побежали только из-за Миронова. В пьесе говорилось о Карибском кризисе, там был советский сотрудник по фамилии Фомин, а я ведь, поскольку родилась в Нью-Йорке, носила эту же фамилию! Могла бы, кажется, о чем-то задуматься... Но, честно говоря, нам смотреть спектакль было не интересно».

Интересно рассказал о событиях вокруг потрясшего весь мир кризиса сам Александр Семенович Феклисов, волею случая – и в силу характера – ставший одним из главных действующих лиц этой драмы.

В середине 90-х годов ему позвонил Анатолий Яцков, лучший друг, разведчик-атомщик, тоже Герой России: «Сания, у меня к тебе последняя просьба: напиши правду о Розенберге и Фуксе. Я уже не успею». Феклисов пообещал умирающему другу сделать это.

И появилась книга «Признание разведчика» (вышла в 1999 году; второе издание, подготовленное уже дочерью, в 2016-м, вышло микроскопическим тиражом). «Признание...» трудно далось автору. «Профессия разведчика по природе скрытна, молчалива». Но это был тот случай, когда человек не может молчать. В ней – запоздавшая правда о Розенбергах, Клаусе Фуксе.

И, конечно, о событиях вокруг Кубы. На календаре – 1962 год. Феклисов – советский резидент политической разведки в Вашингтоне (по легенде – Александр Фомин, советник посольства СССР). Октябрь. Весь мир уже знает эти слова – «Карибский кризис». Все очевиднее признаки военного и политического противостояния США – СССР.

22 октября Фомина приглашает на завтрак в ресторан «Оксидентал» Джон Скали – известный политический телеобозреватель, он лично знаком с кланом Кеннеди, вхож к президенту. Феклисов встречался с ним в течение полутора лет.

Скали выглядит взволнованным. Без предисловий начинает обвинять Хрущева в агрессивной политике – генсек КПСС угрожает США ракетным обстрелом с Кубы.

«Не свихнулся ли ваш генсек?» Феклисов возражает: «Гонку вооружений инициировали Соединенные штаты!»

Двое расстаются, недовольные друг другом. Ситуация с каждым часом становится все более опасной. В резидентуру просачиваются секретнейшие сведения: американская армия будет готова к высадке на Кубу 29 октября.

Из Москвы и из Центра не поступает никаких важных указаний. Утром 26 октября Фомин решает пригласить Скали на ланч в тот же ресторан в надежде получить от него свежую информацию. В книге «Опасность и выживание» Макджорж Банди (советник по вопросам национальной безопасности США) напишет потом, что о предстоящей встрече Скали с советским разведчиком было доложено президенту. Кеннеди велел передать Фомину: «Время не терпит. Кремль должен срочно сделать заявление о своем согласии без каких-либо условий вывести свои ракеты с Кубы».

Память разведчика сохранила эту встречу во всех деталях.

«Потирая руки и с улыбкой глядя на меня, Скали спросил:

– Как самочувствие Хрущева?

– Это мне неизвестно. Я лично не знаком с Хрущевым. Это Вы на короткой ноге с президентом и много знаете из того, что происходит в Белом доме.

– Хрущев, видимо, считает Кеннеди молодым, неопытным государственным деятелем. Он глубоко заблуждается, в чем скоро убедится. Пентагон заверяет президента, что

за сорок восемь часов сможет покончить с режимом Фиделя Кастро и советскими ракетами.

– Вторжение на Кубу равносильно предоставлению Хрущеву свободы действий. Советский Союз может нанести ответный удар по уязвимому для Вашингтона месту.

Скали, видимо, не ожидал такого ответа. Он долго смотрел мне в глаза, потом спросил:

– Ты думаешь, Александр, это будет Западный Берлин?

– Как ответная мера – вполне возможно... Знаешь, Джон, когда в бой идет тысячная лавина советских танков, а с воздуха на бреющем полете атакуют самолеты-штурмовики... Они все сметут на своем пути...

На этом наша полемика со Скали закончилась... Здесь я должен сказать, что никто не уполномочивал меня говорить Скали о возможном захвате Западного Берлина. Это был порыв моей души... Я действовал на свой страх и риск».

Разведчик не мог ожидать того, что произошло дальше. Его слова были без промедления доведены до хозяина Белого дома, и уже через три часа Кеннеди передал ему через журналиста компромиссное предложение об урегулировании кризиса.

Скали вызывал Фомина на новую встречу в кафе по телефону посольства.

«Не теряя времени, он заявил, что по поручению „высочайшей власти“ передает следующие условия решения Карибского кризиса: СССР демонтирует и вывозит с Кубы ра-

кетные установки под контролем ООН; США снимают блокаду острова; США публично берут на себя обязательство не вторгаться на Кубу».

Разведчик попросил уточнить, что означает термин «высочайшая власть»? «Чеканя каждое слово, собеседник произнес: «Джон Фицджеральд Кеннеди – президент Соединенных Штатов Америки».

Фомин заверил Скали, что немедленно доложит о предложении американской стороны своему послу. «Но одно дело обещать, а другое – сделать». Он составил подробную телеграмму о двух встречах с журналистом и передал послу для отправки в Москву за собственной подписью. Посол Добрынин три часа изучал диковинный текст, потом пригласил к себе его автора. В комнате для переговоров с серьезными лицами сидело несколько сотрудников посольства. Посол извиняющимся голосом сказал: «Я не могу послать такую телеграмму, поскольку МИД не уполномочивал посольство на такие переговоры».

«Удивившись нерешительности посла, – пишет дальше Феклисов, – я подписал телеграмму сам и передал шифровальщику для отправки моему шефу». Утром следующего дня он с волнением ждал вестей из Москвы. «Решалось: война или мир».

В 9:30 утра Фомину приходит депеша из Центра. Шеф подтверждает получение телеграммы и просит повторить ее за подписью посла. Приходится объяснять: Добрынин отка-

зывается ставить свою подпись.

Так закончилось 27 октября. Положительный ответ Хрущева пришел в десять утра в воскресенье 28-го. СССР вывел свои ракеты с Кубы, США сняли блокаду с острова, а через шесть месяцев убрали свои ракеты из Турции. Земляне вздохнули с облегчением.

Акоп Назаретян напишет потом в предисловии к книге Феклисова: «За два с половиной миллиона лет человечество не раз оказывалось на грани самоуничтожения. Но, исследуя экологические проблемы и катастрофические коллизии нашей планеты, я не нахожу другого случая в истории, когда бы судьба человечества решалась в столь сжатый срок (13 суток) ... Это были дни и часы мировой истории, весьма скромно отмеченные в России неблагодарными потомками».

Американская сторона, говорит дочь Феклисова, сразу признала канал Фомин – Скали. Об этом в США много написано, история вошла в американскую «Энциклопедию шпионажа». Джеймс Блант, автор книги *On the Brink* («На грани»), в 1989 году в Москве, на конференции, посвященной 27-летию урегулирования Карибского кризиса, вручил ее отцу с надписью «Александру Феклисову – человеку, с которым я всегда хотел встретиться, личности, сыгравшей важную роль в величайшем событии нашего времени».

Роберт Кеннеди, в те времена министр юстиции, написал книгу «13 дней», по которой снят одноименный фильм. Там есть такой персонаж – Александр Фомин. Когда в дни кри-

зиса стало ясно, что возможности официальной дипломатии исчерпаны, политическому советнику американского президента (его играет Кевин Кёстнер) пришла счастливая мысль подключить к переговорам известного тележурналиста, который дружен с неким Александром Фоминым. «Его подлинное имя Александр Феклисов, – говорит советник. – Это супершпион! Главный разведчик КГБ!» Пролистав личное дело Фомина – его немедленно доставило ЦРУ – советник решает позвонить Джону Скали.

Дальше в фильме шумный эпизод. Высшие чины Пентагона и ЦРУ обсуждают «дорожную карту» броска на Кубу. «Разбомбить остров к черту!» «Высадиться и все пожечь!» «Это им за залив Свиней!». Залив Свиней – так переводится с испанского название залива Кочинос. (За год до карибских событий американские коммандос уже пытались свергнуть Кастро. Вместо самолетов разбомбили муляжи, посланная на поддержку десанту авиация – из-за путаницы в часовых поясах – побросала бомбы в залив Свиней. Получился большой позор.)

Фильм вышел в 2000 году, Феклисов успел его посмотреть. «Отец очень рассердился на то, как одели Александра Фомина – из-под пиджака у него выглядывал ворот свитера, – вспоминала Наталия Александровна. – „В свитерах ходили только фермеры, а я всегда был в сорочке и при галстук-ке!“ А в целом, сказал, фильм точно отражает события. Как разведчик, он много чего нарушил в той истории. Но един-

ственное, о чем жалел – что после отказа Добрынина подписать письмо не направил его прямо Хрущеву. Это бы сэкономило целые сутки. Сколько плохого могло произойти за эти 24 часа!.. Слава Богу, не произошло».

Никто не поздравил его с победой, не поблагодарил за смелость. Звание Героя разведчик получил через 46 лет после того, как он совершил свой удивительный подвиг. Сегодня, когда наша страна так нуждается в подлинных героях, разведчик Александр Феклисов остается «таинственным русским мистером «Х».

Лев Золотайкин

Моя родная бабушка

Мозг человека постоянно работает. Даже во время сна, когда организм отдыхает, мозг использует этот покой, чтобы без помех навести порядок в сознании. Все положительное он расставляет на ближних полках памяти, а разные дурные мысли и поступки убираются подальше, в чулан, а то и вовсе стираются начисто. И только жизненные потрясения могут поднять со дна памяти разную муть.

Власть, которая сама находится в постоянных раздумьях, естественно учитывает эту особенность своих подданных. Огромная пропагандистская индустрия безостановочно формирует поток мыслей народа в определенных рамках и направлениях. То есть действия власти представляются как глубокая мудрость, а возникающие сомнения глушатся фейерверками торжеств и грохотом военных действий.

Например, проблемы роста цен и снижения зарплаты перекрываются необходимостью наращивать силы для отпора врагам, посягающим на историческое величие Родины.

Само понятие «Родина» возводится на пьедестал, и это уже не рутинная запись в свидетельстве о рождении, а особое «чувство Родины», которое необходимо обрести и в нем

утвердиться. Такие вот удивительные мысли заполняют пространство, хотя мне на старости лет кажется, что на родине я все-таки изначально живу, а речь идет о любви к родине, и тут у каждого своя икона, а у меня всегда и неизменно моя родная бабушка.

С рождения, а потом в школе и в институте все теплое время года я проводил в деревне у бабушки. Конечно, я вырасту, окажусь в мелькании событий, и будет казаться, что именно они определили мой характер и личность – ничего подобного, самое главное было заложено в то простое деревенское время, а значит тогда и была определена судьба.

Моя «деревня» – это село Трубино Угодско-Заводского района Калужской области. От Москвы всего сто с небольшим километров. До войны мы даже входили в Московскую область, но в 1944 году нас опять вернули в Калужскую «губернию», а позднее Угодский Завод переименовали в город Жуков.

Село Трубино с двумя церквями XVII века было самым большим и богатым в округе. Достаток обеспечивался живыми деньгами, которые мужчины зарабатывали в Москве, нанимаясь в мелкие служащие или в сезонные строительные артели.

Конечно, посевная и уборка хлеба – дело святое, мужики отпрашивались у хозяев и приезжали на помощь, а так все крестьянские заботы ложились на плечи жен, детей и роди-

телей, если позволяло их здоровье.

Красивые дома стояли по обе стороны глубокого оврага до самого Большого леса. А начиналось село от старинного почтового тракта, «большака». Дальше текла река Протва. И дорога, и река бежали к Серпухову, а между ними протянулись заливные луга с травами в рост человека.

Из леса, по дну оврага, через все село в Протву вилась маленькая речка, в которой било множество ключей-родничков. На них, против многих домов, хозяева ставили колодцы и небольшие баньки.

Отец бабушки – Григорий Лялин – держал трактир как раз у большой дороги. Бабушка вспоминала, как наливали из самовара и разносили гостям чай в расписных чайниках. Была усадьба с большим садом, и вообще весь этот край села назывался Лялинкой.

Когда бабушку выдали замуж, братья поставили ей на Лялинке отдельный дом.

Потом, когда всё переменялось, могилу прадеда уничтожили вместе со всем небольшим кладбищем у церкви. Трактир и сад исчезли, бабушкиных братьев сослали, и они растворились без следа в лагерной пыли.

Муж бабушки прошел в воспоминаниях семьи какой-то безликой тенью. Даже от Григория Лялина остался портрет: стоит крепкий мужик с бородой и рубахой навывпуск. А от бабушкиного мужа – только имя: Николай Герасимович Тарычев, хотя и успели они народить двенадцать детей.

В голодный 20-й год Николай отправился искать еду или работу, вернулся больной и умер. И шестеро детей умерли от болезней и голода. А двух дочерей и четырех сыновей бабушка вырастила одна, и такой была эта женская доля, что память о замужестве осталась где-то в другой действительности.

Могилу деда на трубинском кладбище бабушка мне показала, и уже после ее смерти, когда Артур обнес наш участок алюминиевой оградой, я могилу деда поправил и поставил новый крест с памятной дощечкой.

В общем, так или иначе, дети выросли, обзавелись семьями, и жизнь вроде наладилась. Костя обосновался в соседней деревне, работал в колхозе кузнецом. Сергей уехал в Москву, устроился слесарем на завод «Динамо». Иван, тоже в Москве, трудился продавцом в мясном отделе гастронома.

Первый муж тети Нюры Леонид работал инженером на автозаводе имени Сталина. Родился сын, которого называли Артуром (молодой отец как раз читал роман «Овод»). В 37-м году прокатились аресты инженерных кадров, которые оказались сплошь вредителями. Леонид якобы покончил с собой, оставил предсмертное письмо. Жене письмо не показали.

Тетя Нюра, яркая и веселая женщина, через некоторое время вышла замуж за военного, родилась дочь, и жизнь

продолжилась в семейных хлопотах.

Мой отец, Матвей Степанович, был старше матери на одиннадцать лет. На старинном фотоснимке они с братом стоят совсем молодые, опершись на изящную подставку, в визитках и с цветками в петлицах. На другом снимке отец в военном френче, с шашкой и медалью на груди. Это уже Первая мировая война, и больше из той поры никаких документов не осталось.

Официальная трудовая книжка отца начинается с коротких записей: образование – начальное, профессия – кузнец, 1919—1922 годы – служба в Красной Армии.

Отец высокий, смуглый, прямая спина утвердилась на всю жизнь. Не пил, не курил, не ругался, был добрый, бабушка его очень уважала.

Было время, когда в нашей маленькой комнате на Трубной отмечали праздники, собирались гости. Сохранилось несколько выцветших фотографий, на которых веселые люди тесно сидят за накрытым столом и смотрят в объектив. Очень хорошие лица, ну и мать среди них – такое молодое очарование. Тут же и дети выглядывают из-за спин взрослых: мой старший брат Борис и совсем ещё маленький Артур.

Одна наша родственница, работавшая профессиональным фотографом, устроила мать лаборанткой в фотоателье напротив Художественного театра. От той поры у нас сохранились очень красивые портреты: мать, Борис и я, совсем

кукла, на руках смеющейся матери.

И тут, как зловещее предзнаменование, пожар в бабушкином доме на Лялинке. Дом еще можно было восстановить, но следом грянула настоящая беда – война, которая катком прошла по судьбам всех людей.

Бабушкиного младшего сына Григория как раз перед войной призвали в армию, отправили служить на границу, и с началом войны он пропал без вести.

Костя ушел на фронт, Иван не прошел медкомиссию, а Сергей эвакуировался со своим заводом на Урал.

Отцу в 1941 году исполнилось пятьдесят лет, в армию его не взяли, а записали в народное ополчение. В первых же боях отца контузило, он долго лежал в госпитале и был демобилизован.

Сергей и нас оформил в эвакуацию, но в последний момент я заболел и мы остались.

В войну я был еще совсем маленьким, в памяти какие-то проблески, а скорее прижившиеся рассказы взрослых. Вот я стою на улице, мать спускается по переулку, а я ору что есть мочи. Или я лежу в своей кровати с сеточками по бокам, и вдруг кровать оказывается в коридоре – все разметало взрывной волной.

Потом еще рассказывали, что совсем рядом, у магазина «Керосин», упала бомба, но не взорвалась, потому что, дескать, внутри оказался песок и записка от антифашистов.

Так что, когда вечером выли сирены, все жильцы дома спускались в бомбоубежище – обычный подвал нашего двухэтажного дома. В случае несчастья, он, естественно, оказался бы общей могилой.

После госпиталя отец устроился на Московско-Рязанскую железную дорогу и через некоторое время, в составе ремонтной бригады, был откомандирован в Округ железных дорог Дальнего Востока. Чем они там конкретно занимались, неизвестно, но для нашей семьи поездка обернулась бедой. Основной рабочей силой там были заключенные, уголовщина и воровство процветали. Когда ограбили склад с инструментами, за который отец был материально ответственным, суд долго не разбирался: два года тюрьмы за халатность.

В общем, из так называемой «командировки» отец вернулся через семь лет и, год спустя, умер в больнице. Мать больше замуж не вышла, так и тянула семью одна.

Годы войны были голодными. Однажды, еще до своего отъезда, отец пришел с работы уже ночью и принес буханку черного хлеба и кулек соленых огурцов. Так мать нас разбудила, уж очень ей не терпелось, чтобы мы поели.

На Цветном бульваре, в маленьком угловом ресторане «Нарва» по утрам давали бесплатные завтраки. Отстояв 5—6 часов в очереди, мы получали стакан чая, тарелочку размазни и булочку, настоящую белую булочку.

Когда немцев отогнали от Москвы, Борис с тетей Нюрой

поехали в Трубино провести родственников и, конечно, с надеждой достать что-нибудь из еды. Поезда не ходили, и добирались они до деревни трое суток, изредка на попутках, но больше пешком. Привез Борис много пороха разных видов, коробку немецких елочных игрушек, но главное – большой отрезок конины. Хотя я и был совсем маленький, но шипящие на сковородке котлеты я запомнил.

И еще такая случайная картинка: в нашем многонациональном доме жила даже польская пара. Сам пан Ковальский учил игре на гитаре, а мадам шила. Наверное, в какой-то связи с шитьем поляки и оказались у нас в гостях, и мать им выставила угощение: чай и по блюдецку манной каши.

В 1944 году Борис, окончив семь классов, через военкомат уехал в Баку и поступил в военно-морское подготовительное училище. Началась его отдельная самостоятельная жизнь – дальнейшая учеба в Ленинграде, в Высшем военно-морском училище, потом служба на Северном флоте с жильем в Архангельске и, наконец, до пенсии и отставки – Черноморский флот с квартирой в Севастополе. Так что по жизни я видел старшего брата очень мало, больше в последние годы, хотя он и вся их семья обосновались в Петербурге. Но это уже рядом – переночевал в поезде, и ты в гостях.

Война закончилась.

Дядя Костя всю ее прошел простым пехотинцем и вернул-

ся в колхоз, к семье — жене и пятерым детям, которые жили в абсолютной нищете, собственно, как и все вокруг. Колхоз выполнял план, сдавал урожай государству, а людям за трудодни оставались крохи. Дядя Костя был очень веселым человеком, и работал он кузнецом, всем был нужен. Тогда груды железа валялись по полям, а достать простой гвоздь была проблема. И гвозди, и вообще скобяные изделия ковали в кузнице, как в стародавние времена.

И при всем при том прокормить семью не получалось, так что, промаявшись какое-то время в колхозе, дядя Костя завербовался на лесозаготовки в Карелию, и на долгие годы связь с ним и с его семьей оборвалась.

Еще до отъезда отца в командировку родственники помогли матери устроиться на работу в цирк на Цветном бульваре. В трудовой книжке у нее только две записи: «зачислена в качестве билетера» и «освобождена в связи с уходом на пенсию».

Правда, через какое-то время мать стала начальником цеха, который объединял все работы по обслуживанию зрителей, а последние годы она заведовала директорской ложей — такое в зрительном зале есть красивое сооружение, откуда важные гости могут смотреть представление и отдыхать в гостиной: чай, кофе, фрукты — быть радушной хозяйкой мать умела. Вообще ее служебное гостеприимство было очень широким, в цирк с удовольствием ходили все наши друзья и родственники. Без конца и с улыбкой мать кого-то

проводила через контроль, устраивала, усаживала, приставляла стульчик.

Цирк тогда давал по два представления в день, а по выходным назначались еще общие уборки, так что мать пропадала на работе с утра и до поздней ночи, а мы с бабушкой хозяйствовали, и я перемещался по кругу: дом – школа – цирк.

За время оккупации дом наш в деревне растащили. На всей Лялинке остались только старинный дом соседей и маленькая, темная банька, в которой жила полоумная барыня с дочерью Маней и двумя козами. Такой вот удивительный осколок прошлой жизни – две неумелые женщины пережили все невзгоды, прижавшись друг к другу и к своему единственному добру – теплой печке.

Конечно, совсем без деревни жить было невозможно, поэтому к концу войны родственники сообща наскребли денег и купили бабушке часть дома у местного священника, отца Владимира. Дом стоял недалеко от Лялинки, по другую сторону речки.

В другой половине дома жила совсем больная бабка Ульяна, то ли прислуга, то ли бывшая экономка отца Владимира. Чтобы ухаживать за ней, священник сдал эту часть дома приезжей семье, а сам остался в крохотном флигелечке, как бы на втором этаже.

Приезжие оказались такими энергичными людьми, что бабка Ульяна прожила недолго, потом от них и сам батюшка настрадался.

Мне очень нравился отец Владимир – высокий, красивый, каждое утро он в своей просторной рясе, круглой шляпе и с палкой, как с посохом, шагал в соседнюю деревню, где была действующая церковь.

А вечером они иногда отдыхали с бабушкой на лавочке перед палисадником и тихо разговаривали. Часто подходили нищие, их тогда было много, большинство из них мы знали в лицо. Запомнился маленький подвижный старичок, с круглой лысой головой и в проволочных очках. Мальчишки дразнили его «самолетиком». Нищие разносили окрестные новости, а что им могли подать взамен: кусочек хлеба, картошку, что-нибудь с грядки.

Меня в нашем доме очень привлекал чердак, где впере-мешку валялись церковные книги и советский политиздат. Маленькие жития святых я читал как детективы: жестокие правители мучили бедных христиан и казнили их самыми жуткими способами. Все это описывалось подробно и с картинками. Деловая тетя Нюра газетами «Церковные ведомости», как обоями, оклеила все стены нашей избы. Я ходил и читал, например, стенограмму суда над царевубийцами с их заключительными словами, в том числе и речью Александра Ульянова.

Конечно, как только появился дом в деревне, все, кто оказывался свободен, приезжали и занимались огородом. По тем временам огород был надеждой и спасением. И бывало, что в доме собиралось много народа, так что даже напро-

тив крыльца выкапывали погреб для продуктов, а над ним ставили шалаш, в котором спали Артур и другие братья, любители ночных гуляний и ранней рыбалки. И все же чаще мы с бабушкой оставались одни.

Люди в нужде очень изобретательны. Почти в каждом доме тогда была самодельная мельница: два плоских, круглых камня, к верхнему крепилась палка, и его крутили вручную. Между камнями сыпали все, что удавалось достать – зерно, крупу – и текла тонкая струйка вроде как муки. В нее добавляли все что можно и пекли что-то вроде хлеба.

После уборки урожая мы с бабушкой ходили в поле собирать колоски. Вполне серьезно за это грозили тюрьмой, знаменитой «десяткой» лет. Но вроде мы надеялись, что с нас нечего взять, старый да малый, и все же держались ближе к краю, пригибались к земле, ползли на коленях и все-таки что-то приносили на нашу мельницу.

Потом хлеб стали продавать в Угодском Заводе. Утром собиралась кучка ребят, и мы наперегонки бежали в город. Вставали в очередь, приезжал грузовик с хлебом, прямо с машины отпускали по две буханки в руки.

На колхозные огороды мы совершали набеги, как только там что-то проклевывалось. Пока вечно полупьяный сторож вылезал из шалаша и начинал орать, нас уже и след простыл.

Но самый долгожданный подарок деревни – это, безусловно, лес. Первые грибы, ягоды, ближе к концу лета – орехи.

Такой небольшой, домашний лес начинался у нас прямо

напротив дома, на другой стороне оврага. Он тянулся вдоль всей деревни и в конце соединялся с большим лесом. Название у него было смешное – Будкин. Что означало слово Будкин, никто не знал. Видимо, какой-нибудь стершийся из памяти людей казус превратился в нелепое слово.

Лес был очень удобный. В любой момент можно было сбегать и набрать корзинку грибов или банку ягод. Разные палки, жерди для забора и для других починок я всегда находил в Будкинском лесу. А еще с бабушкой мы ходили обдирать кору с сухих пней для растопки самовара. Пни выбирали совсем засохшие, чтобы кора хорошо отламывалась, стряхивали мусор и набивали мешки. Заодно бабушка проверяла свои муравьиные кучи. Она клала в них пустые бутылки, а когда муравьи набивались внутрь, она их толкла и получался муравьиный спирт, хорошая растирка от ревматизма.

А я еще приносил бабушке бодягу. Это корни прибрежных кустов обрастают в воде такой губкой. Нырять под берег жутковато, в мутной воде теряешь ориентацию, хочешь вынырнуть и стукаешься головой о корни. Сразу паника, начинаешь барахтаться и вылетаешь на поверхность, хватая воздух. Но пучок корней я все же наламываю, бабушка пористое утолщение соскабливает, сушит и готовит еще одну жгучую растирку. Сама губка очень едкая, и у меня долго жжет пальцы и ладони.

Вообще, бабушка собирала и сушила много разных трав, душистые пучки висели у нас по избе. Когда я ухитрился

опрокинуть себе на ногу кипящий самовар, бабушка лечила меня, обкладывая ожог толстым слоем разных листьев.

В большой лес обычно собирались компаниями, но мы часто ходили вдвоем с тетей Нюрой. Легкая, быстрая, она перебегала с места на место, громко радуясь находкам: «Ага, белый... А вот еще! Ух ты, какой!..»

А потом мне как-то больше понравилось ходить одному. Я отработал такой большой круг: сначала идешь прямо по краю лесной дороги и обязательно попадается несколько белых грибов, потом через большую поляну, изрытую какими-то окопами, уходишь в лес, к оврагу, где на склоне, в траве разбросаны стайки маслят, дальше идет ельник, а за ним большой, в основном березовый лес. Вот тут самый большой сбор белых, подберезовиков и подосиновиков. Прочесываешь этот лес и большой дугой разворачиваешься обратно по рвам, в которых ельник чередуется с березовыми просветами, тут тоже попадают солидные грибы. Ну, а всякая мелочь разбросана по всему пути: сыроежки, волнушки, чернушки, свинушки, лисички целыми стаями. Часа через два я выхожу на край леса с другой стороны. Лес раскинулся на возвышенности, так что далеко внизу видны лишь купола нашей большой церкви.

В урожайное лето бабушка посылала меня специально за сыроежками. Кажется, они застилают перед тобой всю землю, но набрать корзину – это адское терпение. Плоские кружочки уминаются от собственного веса, режешь их ре-

жешь, а в корзине не прибавляется. Бабушка под сыроежки готовила небольшую бочку и постепенно ее наполняла. Умело засоленные сыроежки с лучком и каплей масла шли на расхват при любой еде.

Бесспорно, лучше всех готовила всякие соленья мать. Только она безошибочно клала всякие приправы и добавки. У нее даже хватало терпения консервировать валуи. Обычно у нас их не собирали, считали слишком горькими, поэтому они буквально заполняли лес, разрастаясь и вводя в заблуждение, потому что издалека походили на белые грибы. Но набрать их корзину была такая же мука, как и с сыроежками, но по другой причине – они были сплошь червивые. Приходилось собирать такие, которые ещё только вылезали из земли. А дальше мать над ними колдовала: вымачивала, отваривала, и у нее из презренной поганки получался редкий по вкусу деликатес.

Когда зимой Борис приезжал на несколько дней в отпуск, да еще с друзьями в ослепительной форме и с кортиками, чем их было угощать: картошка и грибы. А еще соленый огурец с каким-то яблочным вкусом, ешь его, а рука тянется за следующим. Ну и, конечно, мать пекла пироги. Повторить их потом пытались все наши женщины, но пироги так и остались семейной легендой.

Война извела лесных зверей. Сохранились в основном волки, но и они избегали людей. В жару колхозное стадо за-

ходило в лес, разбредалось по полянам. Пастухи вроде волков слышали, и собаки заливались лаем, но каких-то громких нападений не было. Как-то даже под шуточки прошла история, как одна хозяйка, жившая в маленькой баньке, зашла на ночь запереть козу. Утром нашла только рога и копыта.

Бабушка рассказывала, как однажды она вышла из леса на Михалевой горе и села передохнуть. Смотрит, а на другом пригорке сидит собака. И дать ей нечего, кусок хлеба сама съела. А потом бабушка пригляделась к собаке – господи! – да это же волк. «Ну, – говорила бабушка, – не помню, как скатилась с горы, корзинка улетела и грибы рассыпались. Докувыркалась до речки и опомнилась только у первой избы».

Ходили рассказы и о встречах с медведем в малиннике, но это уже были скорее байки, вроде рыбацких огромных щук.

Зиму бабушка жила в Москве, и была это для нее мука мученическая. Мать приходила с работы усталая, раздраженная, и все ей было не так и не на своем месте. Через какое-то время бабушка собирала свой мешочек, и я провожал ее к тете Нюре.

Ехали мы на Автозаводскую через всю Москву, часа полтора. Тогда двери у трамвая не закрывались, и мне очень нравилось прыгать на ходу с подножки или на подножку, когда вагон трогался или останавливался.

Но и у тети Нюры с ее бурным характером и размашистым хозяйствованием бабушка долго не выдерживала, собирала мешочек, я приезжал, и мы тащились в обратную сторону.

Так что весну мы ждали с нетерпением. Про бабушкины горькие переживания я уже и не говорю.

Каждый ледоход на Протве сносил мост, и село оказывалось отрезанным от своего районного центра. Мост кое-как восстанавливали, и это был сигнал всем городским затворникам, что можно ехать в деревню. Пришла весна!

Но бабушка собирала свой мешочек намного раньше, как только распространялся слух, что на реке появился лодочник.

Поезд до Малоярославца ходил один раз в день рано утром. В страшной толчее и суматохе мы с бабушкой втискивались в вагон и пробирались в середину, где прямо на полу стояла железная печка, иначе за те часы, что поезд тащился, можно было окоченеть.

В Обнинске приезжих ждал обшарпанный грузовик, никаких сидений не было, просто все стояли в кузове, держась за кабину и друг за друга. Пятнадцать километров по ухабам до Угодского Завода, а дальше уже спокойно, пешком до реки.

И вот мы доходим до края Костинского поля, дорога уходит вниз, а перед нами расстилается огромная панорама: лесные дали, за ними еще дали, но уже как темные полосы.

Река Протва скрыта прибрежными кустами, но вода ещё

блестит в широкой пойме реки. И Бездонка – кусок старого русла Протвы – наполнен до краев. Потом, когда вода спадет, останутся маленькие озера с массой утиных гнездовий. За рекой, из-за темных деревьев, выглядывает купол нашей большой церкви. Слева, на холмах, избы деревни Величково, а справа из оврага торчат крыши села Федоровское, и только их маленькая церковь красуется на пригорке.

В этот приезд все идет, как по нотам: лед остался только у берегов, лодка привязана к колышку, и хромой Паша Крючок уже вылезает из шалаша.

Народа собралось немного, и мы быстро оказываемся на своем берегу. Вода с луга сошла, трава зеленая, и в почках деревьев уже видны зеленые точки.

Наш теперешний дом стоит в издавна сложившемся как бы духовном участке села, который определяется небольшой церковью Воскресения Господня и храмом Знамения Божией Матери, величественным даже в своих разрушениях. Сюда же входило и небольшое кладбище, теперь разрушенное и с разбросанными памятниками. Все это окружено огромными липами с массой вороньих гнезд. Галдеж стоит непрерывный, но мы к нему привыкли, без него уже было бы скучно. Раньше здесь стояли дома священников, все место так и называется – Поповка. Теперь же, кроме нашего дома, остался только дом соседки, вдовы дьякона.

Ну и чуть в стороне, из-за разлапистой ели, выглядывает

развалюха Наташи-глухуши, бывшей школьной учительницы, которую деревенские считали придурковатой.

Вот наши соседки и вышли встретить бабушку: Ольга Арсентьевна и Наташа со своими козами. Никакая она была не дурочка, почтальон приносила ей газеты, просто слышала она плохо, говорила с трудом и людей сторонилась, но с бабушкой они разговаривали подолгу, и козье молоко мы у нее покупали, хотя и была она вся чумазая от своей печки и одета была в какую-то смесь халата и телогрейки. Но тогда все были темно одеты, главное, чтобы грело.

Мы с бабушкой зашли на участок и оглядывали наше хозяйство. Из-под снега все вылезло каким-то помятым, и мы терялись, не зная, за что хвататься в первую очередь.

А в общем, время шло, жизнь налаживалась и деревня как-то разгибалась. Уже до Калуги стали ходить несколько поездов, а в Обнинске приезжих встречал, хотя и ржавый, но все же автобус.

Мать и тетя Нюра привозили гостинцы: сушки, сухари, печенье, карамельки. Тогда скудость еды компенсировалась естественностью приготовления и натуральностью продуктов. Когда бабушка доставала из печки чугунок истомившейся там молодой картошки, добавляла в нее сметаны и сыпала укропчик, то больше такой картошки я в жизни не ел, на каких бы роскошных тарелках ее не подавали.

Летом теперь собиралось много приезжих детей и под-

ростков, да и деревенские ребята высыпали на улицу. У школы сделали волейбольную площадку, а в центре села было такое ровное место, которое называлось «на пруду» (вроде раньше и был пруд), так вот там устроили футбольное поле, и первыми стали гонять мяч взрослые парни. Капитанами были двое одноруких: фронтовик Вася Трушин и сын председателя колхоза Лева Поклонов.

После немцев на полях и в лесу валялось много разного оружия, вот ребята и решили обстрелять из рогаток артиллерийский снаряд. Бабахнуло громко, и Лева остался без руки – здоровый, красивый парень, но вот, судьба.

Впрочем, эра «большого футбола» была недолгой, и полем завладели мы. Сложилась даже сборная нашего села, и мы играли с ребятами из других деревень.

Модным стало ходить на реку купаться. Больше всего народа собиралось на песчаном пляже у моста. Дальше был «девичий пляж» – песок на мелком отрезке реки, «мужской пляж» – на противоположном берегу, чтобы никого лишнего, «пляж у омута» – тоже на противоположном берегу, место, облюбованное рыбаками, и, наконец, большой пляж на крутом изгибе реки со странным названием «кулига». Но до него было сравнительно далеко, и ходили туда редко, по настроению.

Одно время на пляже у моста красовался мой двоюродный брат Артур – стройный блондин, да еще и с разрядом по плаванию. Очень скульптурно встав на край обрыва, он

ласточкой летел в воду, выныривал и очень мощно и стремительно плыл. Мы, шпана, были в восторге, а уж девушки, хотя и были тогда стеснительные, но тут собирались в кружок: волейбол, разговоры, смех и Артур в центре внимания.

Артура всегда тянуло к красивой жизни. И в друзьях у него были наши двоюродные братья из соседней деревни Меркульево. Когда-то туда выдали замуж родную сестру бабушки, и образовалась целая родственная ветвь Черновых. Мы с бабушкой ходили навещать сестру Анну, когда она заболела и уже была при смерти.

Небольшая деревня Меркульево расположилась совсем близко к лесу, в очень глубоком даже для наших мест овраге. Немцы в Трубино занимали дома для постоя, а вот Меркульево избегали, и деревня сохранилась в целости.

Наша меркульевская родня хорошо устроилась в Москве и была довольно богатой: красивые дома, большие сады. Артур со своими «кузенами» набивали сумки яблоками самых знаменитых сортов и на велосипедах катили в Угодский Завод на рынок – небольшие, но все-таки деньги. И вечером в клубе Артур не крутил из газеты «козью ногу» с махоркой, а доставал из кармана папиросы.

Артур вообще был способный и удачливый. Он окончил школу с золотой медалью именно в тот год, когда армии вдруг стало не хватать специалистов по танкам, и Артур прямо со школьной парты прошел отбор в Бронетанковую Академию. Приехав на каникулы, Артур в наш простой деревен-

ский клуб явился в шикарнейшей форме с погонами, разными значками и нашивками. Среди темных пиджаков и телогреек вращался прямо какой-то небожитель.

Но если уж вспоминать самого блестящего кавалера на танцах в трубинском клубе, то это был маршал Жуков.

Веселый гармонист Георгий Жуков родился на том берегу Протвы в деревне Стрелковка. С дядей Ваней они были одногодками и, как это тогда называлось, – дружковались. По пути от реки Георгий заходил на Лялинку, бабушка наливала им по стаканчику, и молодые люди отправлялись на гулянку.

В войну мать Жукова и его сестра с детьми не успели выбраться из деревни до прихода немцев. В самый разгар боев под Москвой была проведена очень скрытная операция по вывозу семьи командующего с оккупированной территории. В документах того периода этот эпизод преподносится как героическое нападение местных партизан на штаб германской армии «Центр», будто бы располагавшийся в Угодском Заводе. Среди мемориального комплекса, посвященного Георгию Константиновичу Жукову, стоит и бюст командира партизан Михаила Гурьянова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.

Ну, а когда война уже шла к победе, Жуков прислал в Стрелковку несколько «студебекеров». Так что по нашим ухабам прыгали не только раздолбанные полторки, но и американские красавцы.

В самодеятельности трубинского клуба выступала еще одна будущая знаменитость – Виктор Коршунов – известный актер, а потом и директор Малого театра в Москве, сменивший на этой должности самого великого Михаила Царёва. Казалось, что Царёв будет жить вечно и так же вечно будет играть молодого Чацкого. Но нет, Царёв все же уступил место у руля академического театра нашему земляку – Виктору Коршунову. Так что творческие гены над нашими полями и селами очень даже летали.

А на моей памяти главным в клубе было кино, такая бензиновая тарахтелка на телеге. Мы бежали за лошадью, узнать, что привезли.

Вечером набивался полный клуб. Вся ребятня пролезала в форточку или прошмыгивала за спинами взрослых, и сидели мы лучше всех: на полу, прямо перед экраном.

Кино шло долго, с перерывами, когда механик менял бобины. Пленка часто рвалась, тогда мы громко орал: «Сапожники!»

В общем, жизнь менялась, но и прошлое было еще совсем недалеко и часто всплывало в разговорах. Мать, тетя Нюра вспоминали бабушкино хозяйство: корову, лошадь. Бережное отношение к своему добру, веселье, когда все делали общую работу. Чаще всего вспоминали покос: луга наполня-

лись людьми, мужики шли с косами рядами, и мягко падала срезанная трава. Потом женщины ворошили траву граблями, чтобы она просохла, потом сгребали ее в копны. В полдень устраивался общий обед. Бабушка рассказывала, что раньше и в маленькой речке было много рыбы. Мужики руками из-под коряг натаскивали плотвы и окуней, варили уху.

А мы из речки вытаскивали уже только маленьких пескарей, у нас они назывались «огольцами». Осторожно заводил руки под камень, лежащий на песчаном дне, и резко выбрасываешь его на берег: в траве прыгает серебристая рыбка. Бабушка жарит рыбок с яйцом и это было, можете мне поверить, необыкновенно вкусно.

На общие покосы выходили и после войны. В луга отправлялись все, кто у нас был в это время в деревне: и сама бабушка, и мать, и тетя Нюра. И ребята там крутились, забирались на высоченные стога и счастливые ехали в село на огромных возах сена.

Но однажды весной луга вспахали и посеяли кукурузу. Никита Хрущёв увидел в ней спасение от провала своей продовольственной программы. Конечно, трава забила кукурузу, но и сама погибла. Заливные луга оказались уничтоженными. Такое разнотравье собирается столетиями. Прошло уже больше полвека, а на лугу только травянистые кочки да столбцы конского щавеля. Вообще, луг как-то намок, заболотился, одно время расплодились лягушки и начали селиться аисты.

А колхоз, в погоне за увеличением посевных площадей, вырубил Будкин лес, а заодно и все лесные полосы и курстарники по оврагам. У нас местность имеет естественный уклон к реке, вот мутные дождевые потоки и покатались вниз, не встречая препятствий. Река сильно заросла. Раньше ивовые прутья по берегам вырезались для плетения корзин, теперь это умение забылось. Песчаные пляжи заросли травой. Люди стали редко ходить на реку, и само понятие «сбегать искупаться» в деревне исчезло из обихода.

Бабушка родилась в один день и год с самим Сталиным – 21 декабря 1879 года, так что ее забывчивым детям о ее юбилеях напоминала вся страна, и дядя Сергей привычно шутил:

– Ну что, мать, обставишь усатого по годам?

Бабушка отмахивалась, и всем было смешно.

Здоровьем Сталина занималась вся советская медицина. Работали даже над проблемой его личного бессмертия.

А бабушка лечила себя постоянным трудом, укрепляла желудок частым недоеданием и умерла в 1964 году, пережив вождя на одиннадцать лет.

Мы с Артуром копали могилу, а подвыпивший дядя Иван сидел на холмике и приговаривал:

– Поглубже, ребята, поглубже...

Мы уже с головой скрылись, еле вылезли, а он все бормотал свое:

– Поглубже надо, поглубже...

Потом Артур на своем танковом заводе сварил крест

и установил на могиле бабушки. Получилось что-то вроде солдатского обелиска. С годами все это скособочилось, и совсем недавно я все сломал, поставил деревянный крест и мраморную доску с фотографией, вкопал лавочку. Опустила ветки большая старая береза, рябина у изголовья – такой тихий уголок. И вокруг половина кладбища – родственники.

Вот она, моя бабушка, на выцветшей фотографии.

Это она вышла за калитку проводить меня и моего школьного друга Генку.

Видно, что уже осень, солнца нет, ветер и трава пожухла. Как обычно, мы провели в деревне все лето, а тут приезжали на выходные.

Мы уже распрощались и со своими рюкзаками отправились пешком до Угодского Завода.

Мы пошли, а я обернулся и своим простеньким фотоаппаратом «Смена» щелкнул последний кадр.

И получился лучший мой фотоснимок, сколько я в жизни ни фотографировал.

Современная техника позволяет не только сохранить, но и улучшить наше документальное наследие. Этот снимок я отсканировал, размножил, и «бабушка, глядящая вслед уходящим», разошлась по родственникам.

Снимок простенький: бабушка стоит на дороге, теплый платок, какая-то фуфайка, ветер откинул в сторону юбку и что-то вроде передника. Обувь тоже сборная, такая кон-

струкция из галош и шерстяных чулок.

Руки сложены на груди. Бабушка стоит и смотрит вслед.

В этом постоянном ожидании вся судьба наших женщин — провожать и смотреть с надеждой.

Потом я оканчивал институт, и деревня как-то отодвинулась. Но один приезд к бабушке просто врезался в память.

В тот год бабушка и ее подруга бабка Поля решили остаться на зиму в деревне. У бабки Поли был на селе свой небольшой дом со старой русской печкой. Дом быстро нагревался и хорошо держал тепло. Вот подруги и решили объединиться и спокойно перезимовать без постоянных упреков своих ворчливых и всем недовольных детей. У бабки Поли был запас дров, а за лето и я к ним добавил большую поленницу.

Перед Новым годом мать собрала мне сумку с продуктами, и я отправился провести «зимовщиков».

Когда я добрался до Угодского Завода, уже стемнело. На улице ни души. У последнего дома на столбе болталась лампочка и уличный динамик-колокольчик что было сил хрипел первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром.

Совсем недавно американец Ван Клиберн триумфально победил на конкурсе Чайковского и в России его полюбили, как родного. На прощальном концерте он играл «Подмосковные вечера» и зрители, и сам он обливались слезами. Ну и, конечно, Америка его встретила примерно, как мы в свое

время Гагарина. На волне такой любви он еще несколько раз приезжал к нам с концертами, один из которых и гремел теперь для меня в ночном безлюдье.

А ночь между тем стояла чудесная, со светом от звезд и белизной снега. Музыка осталась позади и я, согреваясь пробежками, испытывал чувство какой-то отрешенности в абсолютной тишине бесконечного простора. Только когда я переходил реку, слева у Кулиги раздался вой. Скорее всего, были величковские собаки, но я в своем романтическом настрое решил, что это волки, и припустил к уже показавшимся силуэтам домов.

Бабушки встретили меня, как долгожданный подарок. И самовар тут же зашумел, и в печке затрещали дрова, и еда на столе была бесподобна в своей простоте.

Я, конечно, привез четвертиночку и, когда бабушки «пригубили», то и запели, и потопали с прибаутками. Ехидная бабка Поля, по натуре своей озорница и матершинница, за словом никогда в карман не лезла, и от ее шуточек все мы покатывались со смеху.

Над миром опустилась глубокая ночь. Мышь скреблась, ветер посвистывал в трубе, мороз сжимал стены, и дом тихонько скрипел. На бескрайнем просторе стояла маленькая изба, и в ее теплой сказке я спал, как убитый.

И это была моя родина, самая дорогая в жизни.

Наталья Коноплёва

Как тетя Шура поругалась со Сталиным. Из-за вагона коньяка

Рассказывает Александра Серафимовна Кузнецова, давний друг нашей семьи.

Александра Серафимовна Кузнецова, 1901 года рождения, умерла в 1980-е годы. Член партии большевиков с 1917 года. Была комиссаром на царицынском фронте в 1918—1919 г.

Шурочка. Александра Тарасова по мужу, крупному военачальнику в Сибири. Ее муж Анатолий Тарасов был репрессирован в 1937-м и погиб в сталинских лагерях в 1940 году. Она тоже была репрессирована, выжила и освобождена после смерти Сталина.

Вот магнитофонная запись, сделанная у нас на даче в 1974 году. Речь идет о конфликте Александры Серафимовны со Сталиным на Царицынском фронте. Это расшифровка магнитофонной записи. Пленка старая, некоторые слова звучат неразборчиво, и вместо них – вопросительные знаки. Но вы все поймете. Это подлинный документ.

– Я тогда была в 14-й армии (Южный фронт). И вот он ко мне подошел, чтоб я ему из нашего санитарного поезда два вагона дала – вагон шампанского и вагон коньяка. А я была начальником медицинского снабжения Южфронта. Стояли мы тогда в р-не С. (?) А он был членом Реввоенсовета Южфронта.

Я ему сказала: «Вы мне никто, вы не входите в номенклатуру тех, кто может мне давать указания».

И отказалась дать. Поехала в Реввоенсовет к Сергею Орджоникидзе. А я вот что знала: что Сталин, еще когда на Запфронте был, мне рассказывали наши «агенты», мол, что этот грузин (он же для нас тогда еще был Джугашвили, как Сталина его мало знали) ... *(Мысль не закончена.)*

Словом, я ему сказала: «Мне ваша подпись не нужна», когда он мне подписал «Сталин». Мне нужна подпись начальника сануправления Южфронта Барсукова (который и сейчас жив-здоров и работает в Министерстве здравоохранения. Его не репрессировали – Сталин тех, кто с ним был, не трогал). Или подпись Разумовского нужна – нач. сан. упр. 14-й армии.

Мне подсказывают: пусть дает документ, он уже часть взял, нам отвечать ведь надо. А мне зачем же фальшивый документ с его подписью? А они испугались – беспартийное было начальство.

А потом меня сделали нач. С... (?). Я и начальник, и ко-

миссар была одновременно. Это уже после того скандала. Это был 1919-й год. Егоров у нас командовал Южным фронтом.

А Сталин тогда за коньяком приходил еще с одним грузином, который был у него порученцем. «Тип» – так мы про него говорили, «Сталин» для него было очень громкое имя.

Там тогда Троцкий был, председатель Реввоенсовета и нарком путей сообщения. И он издал такой приказ: за разбазаривание вагонов (у нас очень мало составов было тогда) – расстрел комиссаров. Все знали, что у него была политика против комиссаров. Он считал, что без комиссаров можно обойтись. И его боялись.

Мое личное впечатление от Троцкого – краснобай. Говорил он неплохо, но были у него, например, такие фразы: «Если мы запретим солнцу, чтобы оно не светило буржуазии – оно не будет светить буржуазии!» Фраза жесткая, но никому ничего не дающая. В таком духе и были все его выступления, которые я много раз слышала. Вообще-то эрудированный человек был. Но по содержанию партийного в его краснобайстве было мало. Я и потом часто с ним пересекалась, и его сын Лёва женился на Майкиной¹ родной тетке.

У Майки мать – Женя, а Анька, ее родная сестра, вышла замуж за младшего Троцкого. Лёвка никогда с отцом не рас-

¹ Майка, Майя – дочь подруги тети Шуры, я знала ее и ее сына.

ставался, и когда того выслали, он уехал вместе с ним. А Аня не хотела ехать. У нее было много братьев и сестер, и она понимала, что за это их будут преследовать. Но все равно все они отсидели.

Аню, как жену сына Троцкого, не только расстреляли, но прежде приносили буквально на руках в камеру, за волосы волокли и выбрасывали в камеру. А в камере с ней жила Комиссаржевская Анна Михайловна. Она и сейчас жива. Она имеет отношение к артистке Вере Комиссаржевской. Ее муж – родной брат Николай Федорович Комиссаржевский. Работал он в МИДе вместе с Чичериным. Его расстреляли, а жена сидела в Лефортовской тюрьме.

Старинная тюрьма, еще при Петре построенная. И я там сидела. Комиссаржевская видела, как Аньку эту бросали. Я потом у Комиссаржевской была, она живет на Кутузовском проспекте, и она мне рассказывала об Аньке.

А я Аньку не только хорошо знала, но даже когда мы были в Крыму, и она подружилась там с этим Лёвкой Троцким, я говорю: «Знаешь что, Анька, ты брось эту историю».

Как раз тогда Троцкий выступал на литературной дискуссии. Это был 1924 год. Уже Троцкого сняли с должности председателя Реввоенсовета. А Лёвка младше Аньки был. Я говорю: что ты парню голову заморочила? У Аньки тогда был муж – председатель райисполкома, который ведал инте-

ресными делами, инженер. Она не развелась, просто путалась с Лёвкой. Тогда на это так не смотрели. Но с Лёвкой она потом зарегистрировалась. Потом ей предъявили обвинения в троцкизме. Правда, очень красивая женщина. А они ее – за волосы. У нее длинные косы были... Она всегда работала, очень толковая была. Например, в Кремлевском кооперативе – был такой, для ЦРК и т. д. по продовольствию – она была там экономистом...

А Сталин, раз опять вы спрашиваете, невысокого роста, среднего, конопатый, оспа у него была. Усы тогда все носили, мой муж тоже. Я очень хорошо знала, и еще одна моя подруга, его сына Яшу, которого он потом не захотел менять на Паулюса. Он сказал тогда:

– Я генералов на солдат не меняю.

А соль в том, что Яша – от первой жены Сванидзе (она тоже была член партии, умерла в 1907 г., Яше было только 2 года). Потом, когда Сталин занял такое место в Кремле, семья Сванидзе отправила его к отцу. И он жил в Кремле. Яшу знали наши девчонки: и Майка, и Ира. Учился Яша там, где кремлевские дети учились. Там и Мирошникова Ирина училась, и другие. Вообще о Якове все очень хорошо отзывались. Сейчас жива его жена, получает пенсию за погибшего. А ведь Яша от отца ушел еще до совершеннолетия. Где-то разгружал баржи, лишь бы не быть в Кремле.

И Софья Дзержинская, вы же знаете эту историю, она то-

же в Кремле жила. Это родная племянница, дочь брата Феликса. Она есть сейчас. Недавно 86-летие, если не путаю, отмечали. Она мне звонила, но я не могла прийти.

Да, так со Сталиным и вагонами. Все отвлекаюсь. Я тогда первая затеяла вопрос: вот так и так было. А он, такой нахал, такая сволочь, ко мне подходит, кладет руку мне на плечо и говорит:

– Ладно, сперва ты нам, потом мы тебе.

Я так стряхнула его руку:

– Я тебе сейчас в морду дам, такому гаду!

А он говорит, что я Махно. Он же дал телеграмму в 14-ю армию, чтоб меня арестовали. А начальник особого отдела знал меня хорошо. Это провокация была, ужасно. И когда я приехала, Серго и Горбунов сказали: «Ты сейчас не поедешь. Кончатся праздники, тогда поезжай».

Я приехала в Москву, пришла к Семашко, рассказала ему всю эту историю. Он ближайший друг был Ленина. Там была такая история, что пока я уезжала, эти вагоны со спиртным Сталин украл просто, пользуясь тем, что он член Реввоенсовета. А ребята не хотели за это отвечать, подготовили документы с вычетом того, что он забрал. И всё ввалили в один вагон.

Я прихожу, смотрю – вагона одного нет. Говорят, он подцепил себе паровоз, подъехал и забрал вагон.

Ну, тут я подняла шум, я же за вагоны отвечаю, пото-

му что Троцкий издал такой приказ. Он против комиссаров был, а по существу – почитайте Ленина – комиссары сыграли в гражданскую войну очень большую роль.

Когда я Семашко все это рассказала, он позвонил туда и сказал, чтобы обязательно меня выслушали на Реввоенсовете. Семашко все-таки нарком. Меня слушали, и все поражались.

А Сталин так вышел и мне кладет руку на плечо, я прямо вздрогнула, и говорит:

– Да брось, ерунда.

А мои беспартийные помощники не могли с ним бороться. Я говорю:

– То, что он нам должен, надо все вычесть.

Я это при всех рассказывала. Барсуков был, Егоров. На него так смотрели все, как на идиота: дескать, какое он имеет право обзывать меня.

А Егоров еще рассказывал, что Сталин, когда приехал, ночью, в 3 часа, стал ему говорить о том, что необходимо ее снять, арестовать, там какая-то... Личные счета просто стал со мной сводить. Кончилось это, конечно, провалом его, но он на это умел не обращать внимания. Так что я все-таки верх одержала над Сталиным.

Тогда советской власти было только 2 года. Я уже тогда его возненавидела: что это за тип такой, прицепился.

Спрашиваете, как же он пробился наверх? Везде висели листки, как Сталин бегал из ссылки. Для дураков это по-

нятно. А для людей, которые имели представление о ссылке — только плечами пожимали. И ведь ни о ком больше так не рассказывали. Видно, он сам придумал и заставил распространять эти стенды.

А потом Берия написал работу «О некоторых вопросах большевизма в Закавказье» (я тогда в институте Красной профессуры училась, у нас старше меня на курс учился Мамулия из Грузии. Так он взял из архива нашего института грузинские газеты «Брдзола» и показал, сравнил: что написал Берия, писали Кецховели, Саукели (?) (или Церетели?) в 1905 году. Но они погибли, и тоже, наверное, от Сталина. Он воспользовался их документами, передал их Берии, и тот писал о нем).

А по существу это все вранье. Это не их заслуги. То были 1934—1935-е годы. И Мамулия поднял этот вопрос, что это не Берия написал, а Кецховели и Цулукидзе. И они его уничтожили. Пришили его к делу Кирова. Ведь дело Кирова сделал Сталин. Это же ясно сейчас.

Я знала всех этих людей, которые тогда были задействованы. И все знали. И ОН уже тогда оказался наверху. Прощел, потому что Ленин считал, что управление у нас должно быть интернациональное.

Это не то, что Егоров, который нашими войсками за границей еще в Первой мировой войне командовал, человек, вышедший из низов. Его поэтому и уничтожил Сталин. И всех подобных ему людей. Возьмите Блюхера, Егорова,

Тухачевского.

Ну, а этих двух идиотов он оставил – это ничего не дало. Какое отношение имеет этот наш Семён Михалыч – он же тоже маршала получил один из первых. И потом Ворошилов. Он же тоже маршала получил. А был ничтожество с военной точки зрения.

Я помню, когда мы по распоряжению Ворошилова, который командовал войсками Украины партизанскими, все время отступали. А потом мне пришлось с Егоровым встретиться, и Егоров вместо Ворошилова был назначен, а армия переименовалась в 14-ю Советскую.

На стене ее комнатки в коммуналке висела фотография известной актрисы Аллы Тарасовой, знаменитой исполнительницы роли Анны Карениной. Проследив мой взгляд, она сказала:

– А кто тут старший?

Тогда мы паровоз нагружали дровами, чтобы с фронта вывезти всех раненых и больных. Ребята кричат:

– Иди, ты старшая!

Подхожу, а он говорит:

– Тебе, что, 16 лет?

Я говорю:

– Нет, 17.

А он:

– Вот сейчас возьму и отдам расстрелять по приказу Троцкого.

Иронически так говорит. А я на него посмотрела и говорю:

– Если каждый белогвардейский офицер будет нас расстреливать, конечно, мы проиграем революцию.

А у него вид был правда уж очень офицерский. Он говорит:

– Ты меня считаешь? (старше меня был лет на 20, наверное).

А я говорю:

– За кого ты меня считаешь, не разобрав дела? Я комиссар части, даже начальник, мне надо раненых отправить.

Он меня на «ты», я и думаю: почему я буду тебя на «вы» называть? Я говорю:

– Пойдем, я тебя постреляю.

А мы никакого пайка не имели, негде было получить. И мои размахивали винтовками, заряжают вроде. А я подняла руку, говорю:

– Никаких, без моего указания не стрелять. Пусть идет стреляет, но он расспрашивать меня не будет. Не такой же он дурак, чтобы меня расстрелять.

Мы потом с Егоровым очень дружили.

И вот он вынимает коробку из-под сладостей, и на ней записан номер нашего паровоза. Вынимает из кармана и говорит:

– Вот у меня номер паровоза, который вы захватили.

Я начала с ним спорить, пошли к нач. политотдела желез-

ной дороги. Политком назывался. И пока мы с ним туда шли, мы подружились. Я говорю:

– Что это командующий наш, Ворошилов, сбежал, что ли? Вот и приходится нам все самим.

Он говорит:

– Командующий не 2-й Украинской, как ты говоришь. А я командующий 14-й Советской армией, в состав ее вошла и 2-я Украинская-партизанская. Ворошилова нет.

Ворошилову, как сейчас помню, дали приказ перейти в 60-ю дивизию. Но он этой дивизией не командовал, не приступил. Он членом партии был с 1906 года, это понятно, но он никакого опыта военного не имел и не руководил. Так, с партизанами делал что-то.

Так же, как Щорс. Щорс – герой Украины. Он был ротный фельдшер. А он не дурак был, Николай Николаевич. Он народ организовал и попросил помощи. И вот мой муж с этим самым Щорсом и еще с Филипповским² – целая группа офицеров, которые еще до 1917 года вступили в партию, и мой муж, член партии с 1915 года, и Филипповский, их еще Гулявко втянул в партию, член с 1908 года, когда они еще были студентами в Петрограде. Все это на ходу делалось, организовывалось.

А что этот самый Ворошилов? Ничего.

И уж этот Семэн... Мой муж был в 30-е годы начальник

² Его дочь Наташа Филипповская стала известным архитектором, у нее дочь Лена, я с ней встречалась.

особого факультета в Академии Фрунзе. Так при мне пришла преподаватель к мужу домой пожаловаться: Буденный ничего не делает, ничего не понимает. Я не могу с ним заниматься иностранным языком. Ему это ни к чему. И он оскорбительно говорит: на черта это мне нужно! Маршал. Он же хам.

Вот даже такой факт бытовой, ужасно некрасивый. Это я так же точно знаю, как то, что я с вами сижу. Ему жена говорила, когда он неправильно, нетактично себя вел. А он сделал так, чтобы очень быстро ее взяли и арестовали. И посадили.

А на ее место пришла сейчас же ее родная сестра, которая до последнего дня жила с ним, до его смерти. Она и сейчас жива. А когда ту после смерти Сталина выпустили, он не хотел даже с ней видаться. Родная сестра не пустила даже ее в дом. Это личность совершенно аморальная. Вот он был маршал. А что толку? Он конник, был унтер-офицером царской армии...

ОБРЫВ ЗАПИСИ. Тогдашние магнитофонные компакт-кассеты были не больше, чем на 60 минут. Дефицитная кассета закончилась, другой не было. А тётя Шура еще рассказывала. О том, как ее арестовали и долго держали в камере без предъявления обвинений. И как в камере в Лефортово с ней сидела красивая молодая женщина, мать двоих детей. Она говорила Шуре, что это Берия посадил ее,

потому что она отвергла его домогательства. И она знает, что отсюда не выйдет. Кто приютит ее детей?

А тётя Шура в то время как раз приютила упомянутых выше Майю и Иру, когда забрали ночью их родителей. После ареста тети Шуры девочки попали в детдом...

Рассказывала тетя Шура про лагерь в Казахстане, про женские бараки и про двухэтажные нары. И про то, как после XX съезда КПСС она, которую никто дома не ждал (муж погиб до войны, детей не было), больше года работала в комиссии по освобождению незаконно репрессированных. Колесила на «Газике» по лесам и болотам от одного объекта Гулага к другому...

Мои папа и мама подружались с Александрой Серафимовной еще до моего рождения, а потом она куда-то переехала и исчезла из виду. Оказывается, была арестована.

После 1956 года мама случайно встретила тетю Шуру на улице, привела к нам домой, и мы тесно общались долгие годы.

Тетя Шура вернулась в обычную жизнь, потеряв все. Ни дома, ни семьи, ни фотографий родных, ни старых писем. Получила комнату в коммуналке, персональную пенсию. Моя школа была поблизости, и я после уроков навещала ее. Много интересного я от нее узнала. Она иногда брала меня с собой в гости к своим друзьям – старым большевикам. Все это были удивительные, прекрасные люди.

А еще тетя Шура много рассказывала про свою гимна-

зию, про гимназических учителей, подруг. Учила меня старинным рукоделиям из гимназических уроков. У одной из ее подруг юности Варвары Боренштейн мы с тетей Шурой гостили в Феодосии в старом, старом доме...

На стене ее комнатки в коммуналке висела фотография известной актрисы Аллы Тарасовой, знаменитой исполнительницы роли Анны Карениной. Проследив мой взгляд, она сказала:

– Эту открытку я всегда возила с собой. После ареста мужа (его фамилия была Тарасов) это единственное, что напоминает мне о нем.

Олег Ларин

Хляби земные, хляби небесные

Сколько раз убеждался: тропе надо верить и не оглядываться в страхе назад. Она ничьей воле не подчиняется и лучше всех знает, куда идти. Тропа правдива, мудра и загадочна, как евангельская строка. И это я знал из личного опыта, без подсказок.

Вот и сейчас я шел, привыкая к сквозящей таежной глубине, к ее тревожному молчанию, которая заключает каждого в некий заколдованный круг. В сущности говоря, это была уже дикая тропа, проложенная зверями и охотниками старого закала, но в которой угадывалась своя логика. Она иногда терялась в путанице прошлогодней листвы и пожухлых злаков, бессмысленно пролезала между двумя близко стоящими деревьями, зачем-то скатывалась в ложбину с ржавой застойной водой, а то упиралась в поверженную сосну с вывороченными корневищами, где ее следы почти обрывались. Но меня это нисколько не смущало. Я ощущал себя опытным лесовиком, и вело меня вперед седьмое чувство, свойственное таежникам. Как будто этот лес был знаком мне с детства.

Вообще, если поразмыслить, никакого особого дара здесь и не требовалось. К нынешней тайге совершенно неприме-

нимы эпитеты «девственная», «непроходимая», «сонная»; нынешняя тайга – это строительная или производственная площадка, опутанная трассами автодорог, со складами горюче-смазочных материалов, штабелями разделанной древесины и скопищем движущейся техники... Перед глазами потянулись зеленые версты с пузырьчато-ядовитыми пятнами болот, на которых когда-то стояли строевые леса. Стали попадаться старые вырубки в кольце заброшенных волоков, со стволами трухлявых деревьев и отвалами бурой земли. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы определить: это следы недавнего хозяйствования человека.

Тропа уводила в осиновую чащу, и я почти побежал по ней, выжимая подошвами сапог болотистую слизь. Мои глаза озирали лесную округу и не находили того, что было обозначено на карте Переборского лесничества. На всякий случай, чтобы свериться, я достал ее из рюкзака и ахнул: здесь же сосновый бор стоял... второй бонитет... почти сто гектаров! Директор лесхоза Коврижин, когда давал мне эту карту, особо отметил, что здесь хорошо бы развести костер и попить чайку.

Но какой тут, к черту, чаёк! С голых веток свешивалась грязная паутина, не слышно было ни шорохов, ни свиста птиц, будто вымерло все или затаилось. И когда я продрался сквозь частокол осинника и увидел вырубленное пространство, заполненное сухим хворостом, пнями-выворотнями и окнами черной воды, все стало ясно: соснового бо-

ра больше не существует, как не существует никаких примет второго бонитета. Из проржавевших внутренностей трактора, брошенного на лесосеке, выпорхнула спугнутая стайка синиц. Кругом топорщились бесформенные завалы торфа; хаос изломанных суков, вершин и корней устилал обильно политую мазутом землю. Свежие сосновые пни истекали смолой – той самой смолой, которая, пройдя обработку, могла бы стать канифолью, скипидаром, техническими маслами. Чахлое заболоченное редколесье пыталось как-то заслонить следы мамаева побоища. И как памятник лесным мародерам высился на краю болота штабель гниющей древесины: кто-то забыл про него, оставил на погибель.

Пройдя вырубку насквозь, я наткнулся на прибитый к случайно уцелевшей сосне и почти выцветший щит с изображением лося и зайца. Надпись внизу гласила: «Господа! Добро пожаловать на отдых в лес! Не ломайте кусты и деревья, не разоряйте гнездовья и муравейники!..» Вот такие пироги!

Я постоял минуту-другую, вслушиваясь в звенящую тишину, и пошел через болото. Тропа осталась позади.

Веселые березки, выросшие на месте вырубки, уводили меня все дальше и дальше, обманывали сквозящей близостью просвета, обещая то ли полянку, то ли русло какой-нибудь речушки. На самом деле лес густел, раздавался, матерел и наконец принял меня под свой душный и сумрачный полог. Мохнатые ели сплетали над головой сплошной кров. Я чувствовал себя в абсолютной изоляции, как за семью замками.

Словно сомкнулись непроницаемые кулисы, ушли привычные звуки, запахи, краски. Черт меня дернул забраться в эту глухомань!

Я раздвинул ветки толстой корявой березы, опутанной паутиной, и увидел... То, что я увидел, не вписывалось ни в какие рамки. Уверен, что этой картине подивились бы даже самые отъявленные фантазеры из породы таежных охотников...

Большой катер с названием «Тополь» стоял вертикально, прислонившись к стволу дерева... Откуда она, эта наполовину разломанная посуда, как сюда попала? Кругом валялись заросшие молодой травой осколки стекла, консервные банки, склянки, целлофановые пакеты из-под круп, связки старых газет. И никаких следов пребывания человека!

Я легонько пнул эту поставленную на попá железяку, и оттуда, сверху, посыпались... макароны, гречка, горох. Я стоял, слегка опешив. Даже оглянулся на всякий случай: вдруг кто-то прячется за моей спиной?..

Шальная догадка зашевелилась во мне: а что если это «подарок» свыше? Действительно, почему бы не быть этому «подарку», когда тайгу нынче бороздят не только трактора и вездеходы, но и винтокрылые машины типа «Ми-6» и «Ми-8»? Я сам был свидетелем – это было на тюменском Севере, – когда к брюху мощного «Ми-6» подвешивали хорошо упакованный груз, состоящий из запчастей, буровых труб и прочего оборудования. Все это предназначалось

для экспедиций газовиков и нефтяников, работающих далеко в тайге или тундре.

Но этот «груз» не имел никакого отношения к производству. Скорее всего, им владело лицо частное, высоко начальственное и далеко не бедное. Но, замечу, безответственное, привыкшее жить и работать по принципу «авось», «тяп-ляп», пребывающее в рабстве посредственности и бытовой жуликоватости. Иначе «Тополь» никогда бы не сорвался с металлических тросов и не угодил в болотистый подлесок. Так ему и надо, этому чинодралу!

В подлеске было темно и сыро, как в подвале. Под ногами хлюпала подпочвенная вода, выжимала пузырящиеся сгустки торфа, и я вооружился длинным шестом. Балансируя, как опытный канатоходец, чтобы не ухнуть в какую-нибудь трясину, я приближался к груде изломанных фанерных ящиков, что выглядывали среди моховых кочек. Тощие, угнетенные елки и березы, растопылив ветки, преграждали путь, угрожая сбросить в зыбкую коричневую, качающуюся под ногами мглу, удушенную водой.

В ящиках было полно битой посуды, и в основном алкогольного содержания. Помимо толстого кошелька, владелец «Тополя» обладал несомненным вкусом: мелькали почти выцветшие этикетки – «Бакарди»... «Мягков»... «Бенедиктин»... «Белая лошадь»... «Шериданс». Интересно, на какие шиши они куплены? (Почему-то вспомнилась смехотворная история с Сарой Нетаньяху, женой израильско-

го премьера, которая сдала пустые бутылки из-под напитков, купленных на бюджетные – подчеркиваю: бюджетные! – средства, а деньги прикарманила. Печать, ТВ и вся прогрессивная израильская общественность предъявили ей страшное обвинение – присвоение народных средств! Ибо за пустую стеклотару, сданную в пункт приема, по тамошним законам, тоже полагается платить налоги.)

Каждая бутылка стоила когда-то не менее двух тысяч, а то и больше, и я порадовался благосостоянию северного начальника, своего благодетеля. Почему «благодетеля»? А потому, что кое-что досталось и на мою долю. Покопавшись среди стеклянных обломков, я обнаружил целехоньную «Беленькую» 0,75 и литровый темно-красный ликер с заковыристым названием, производства тропических островов Зеленого Мыса. Я немедленно засунул их в рюкзак и обмотал толстым свитером, чтобы не разбились по дороге.

И снова тропа, снова тайга раскручивает свои веселые километры. Все вокруг меняется до неузнаваемости. Как будто не простые охотники, не лесники и сборщики ягод, а высокоученые ландшафтные архитекторы поработали тут сто или двести лет назад, сотворив эту стёжку-дорожку по законам паркового искусства. Плавные обтекаемые повороты, плюшевый сиреневый мох под ногами, манящие просветы между деревьями с окнами жемчужной неведомой мне речушки и краснощекими щелями-берегами, опутанными разно-

цветными лишайниками.

Дыши – радуйся, смотри – думай!.. Но ни чем высокому думать было некогда, потому что я боялся пропустить поворот, который, судя по карте, должен был привести к цели моего путешествия.

Случалось ли вам встречать в тайге серебристого цвета железки странной формы, словно покрытые патиной или облицованные алюминиевой фольгой? Мне встречались, и не раз, и это не какие-то там бросовые железяки, а самый, что ни есть благородный и дорогостоящий титановый сплав. Гостинец из космоса! А попросту говоря – обломок от первой ступени ракеты, запускаемой с космодрома Плесецк Архангельской области. И такими драгоценными «гостинцами» усеян весь Север – от Пинеги, Мезени и до Ямала. Сколько раз приходилось слышать об этом, сколько раз читать, а они все растут, эти головешки из поднебесья, усеивая ягель острыми осколками, о которые ранят копыта олени и лоси.

Многие сотни гектаров таежных и тундровых пастбищ фактически выведены из хозяйственного оборота, оленеводческие кооперативы терпят убытки. Роскосмос все обещает и клянется, что очистит северные территории, ничего практически не делая. Добрый хозяин уже после первого запуска наладил бы сбор в переработку космического «урожая» – как-никак титан, тугоплавкий крылатый металл. Можно ли его представить в виде свалки металлолома?

Раньше, на заре космической эры, отработанные ступени военные из соображений секретности взрывали на месте, и осколки разлетались куда Бог пошлет. Одна из таких «головешек», начиненная электроникой, весом более тонны, с ужасающим воем и свистом, охваченная пламенем, врезалась в горловину таежной реки, образовав огромную засасывающую воронку. Нет чтобы оставить в покое утонувшую ступень – решили взорвать и ее. И от горловины той ничего не осталось, всю взрывом разнесло. Получилось на реке тихое «корыто» с вязкими песками-зыбунами. «Засасывает, к берегу прижимает, когда на катере плывешь, – объяснял мне местный речник. – Весной в этом корыте иной раз по нескольку малых судов сидит: вроде бы и не на мели, и в то же время ни вперед, ни назад». Он добавил еще, что со временем здесь выросли вязкие, песчаные косы по берегам, нарушился зообентос реки и ее ихтиофауна. Да и рыбы нерестилища сильно пострадали. Не простые нерестилища – семужьи!

Позднее, в 80-х годах, космическое начальство отменило разорительные поиски и взрывы ракет на месте и призвало население, точнее исполнительные органы, самому находить титановые головешки и использовать их в хозяйственных надобностях. Сейчас положение чуть выправляется, но нет уверенности в том, что Север будет очищен от космического мусора. В конце 2015 года в печати и по ТВ промелькнуло сообщение о том, что российские экологи провели проверку

частей ракет, упавших при запуске спутников с космодрома Плесецк. Ученые при этом бодро заверили: с экологией в северной тайге все в порядке...

...Нет, я не буду рядиться в тогу наивного путешественника, который, придя к намеченной цели, открывает в изумлении рот: «О-о-о!»

Все оказалось так, как и говорил директор Коврижин: памятник головотяпству!.. Посреди высохшего болота, у кромки леса, в окружении мха и розовых свечек иван-чая, в горделивой позе лежала первая ступенька ракеты, длиной метров шесть, не меньше. И что самое поразительное: абсолютно целая, невредимая, отсвечивающая тусклым серебром, будто только что сошла с заводского конвейера. По идее она должна была отдать свою энергию следующей ступени и сгореть в высоких слоях атмосферы, рассыпавшись на сотни оплавленных частей. А оказалась здесь, на территории Переборского лесничества, по соседству с узкоколейкой (о ней речь впереди) и проржавевшим катером «Тополь». Вот тебе и гостинец из космоса!

Я обошел ракету кругом и заметил что-то вроде дорожки: мох был смят, кое-где утоптан с отпечатками резиновых сапог. Значит, догадался я, люди приходили сюда – приходили, как на экскурсию. Один из посетителей даже стихом отметил на титановой махине: «Дядя Вася из Рязани оказался в Мичигане. Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны!»

И еще бросилось в глаза отсутствие некоторых узлов и деталей: их либо сбивали топором, либо отвинчивали разводным ключом.

Я вспомнил охотничью избушку Володи Кырнышева на речке Вашка. Если бы у меня была возможность махнуть туда на вертолете, я бы достиг этого места за каких-нибудь полчаса. Всего полчаса лёта – и на берегу таежной речушки увидел бы сказочный терем-теремок, будто сошедший с гравюр художника Билибина. Такие жилища строили на Руси еще задолго до Рюрика.

Но самое главное: перед входом в избушку лежала ребристая, похожая на стиральную доску металлическая пластина, о которую вытирали ноги. Из этого же металла был сотворен (именно «сотворен», другого слова не сыщешь) изящный столик с заклепками по окружности, на котором стояли три фигурные пепельницы того же серебристо-тусклого цвета. Ну а когда Володя Кырнышев, штатный охотник Коми-кооппромхоза, увлек меня по деревянной лестнице на крышу, и я увидел вместо дранок или ветхой бересты сплошное металлическое покрытие с аккуратными загибами под водосток, я понял: нет пределов изобретательности таежного человека, к какой бы национальности он ни принадлежал. «Конверсию по-зырянски» завершало реактивное сопло, которое охотник приспособил под помойное ведро и одновременно под ночной горшок. «У меня еще самогонный аппарат есть из титанового сплава, – с гордостью сообщил Володя. –

Но это дома, в деревне. На работе я не пью»...

Погода словно раздумывала, чем бы ей заняться, — то ли нахмуриться, то ли улыбнуться, то ли дохнуть холодом или брызнуть мелким ситничком. Именно такие дни, одетые в призрачную молочную мглу, без теней и звуков, с намеком на тайну, остаются в памяти, и хочется продлить их и прожить заново. Я оглянулся: первая ступенька отодвинулась в невнятной, колдовской дымке, увязла в парном сумраке. Загадочный покой разлился в природе... Прощай, гостинец из космоса!

Я снова полез в рюкзак: тропа есть тропа, но надо определиться в пространстве, а для этого требуется карта. Вообще-то известный афоризм «Все карты врут» имеет под собой кой-какие основания.

Был в советские времена такой всемогущий комитет по охране государственных тайн, который из соображений секретности чуть-чуть изменял масштабы рек, дорог, городов и гор. Ни одна карта, выпущенная в свет при его непосредственном участии, не вполне соответствовала реальной местности и, видимо, издавалась не для простых смертных, вроде нас, а ради дезинформации шпионов и прочих агентов, работающих в пользу империалистических разведок. При Совете Министров СССР усердно трудились целые организации над тем, как бы половчее и не вызывая подозрений изменить угол речного поворота, расположение села, конфигу-

рацию горы или болота... Но эта карта, коврижинская, которую директор лесхоза вручил мне с некоторой опаской, была выполнена еще царским Генеральным штабом, в году эдак 1907-м, и содержала безупречно правдивую информацию. И если в нее вносились какие-нибудь изменения, то исключительно волею тех лиц, которые сами побывали на этой местности, «отпахали» ее пешим ходом с комариным звоном.

Я шел по расхлябанной колее, обходя лужи, куда уже успели переселиться крикливые лягушки. Ноги скользили по размякшей земле, неприятно вздрагивали, попадая в ловушки с застоявшейся водой. В глубине леса копошились какие-то существа – то ли скрип, щебет, перебранка птиц, то ли завывание бензопилы, вгрызающейся в мякоть дерева, – и вскоре эти звуки перекрыл сначала еле слышимый, а потом все нарастающий перестук колес на стрелках. Поднатужившись, захрипел протяжный гудок. Вот она, узкоколейка! Я ринулся вперед, пренебрегая тропинкой.

У воспетой многими поколениями поэтов северной земли масса самобытных символов. Один из них – прадедовская узкоколейка. Однако большинство из них сейчас на пенсии. Я не принадлежу к числу безответственных романтиков, но это такое удовольствие – прокатиться по 750-миллиметровой колее со скоростью 15—20 километров в час! Хорошо поработали мужики-таежники сто с гаком лет назад, прорубая просеки в чащах и увязая лаптями в болотах!

Уютный, почти игрушечный поезд с такими же игрушечными вагончиками качался на поворотах, повязгивая буферами, спотыкался на стыках, как крестьянская подвода на кочках, и никаких тебе аварий и поломок. Ветки деревьев хлестали по открытым окнам, глухари с рябчиками перелетали через крыши вагонов, дорогу перед идущим паровозиком перебежали зайцы, кабаны и даже волки... Узкоколейки продержались вплоть до 1980 года, и если бы не Олимпиада с ее фанфаронской показухой, существовали бы и сейчас... А вот эта, «назло врагам», сохранилась.

Появившийся из-за поворота мотовоз с тремя миниатюрными вагончиками сбавил скорость – начался затяжной подъем. Это было мне на руку. Я примерился к поручням третьего вагончика и запрыгнул на подножку. От резкого толчка две бутылки в моем кармане устроили маленький скандал, но без битья посуды. И этот звук, видимо, привлек внимание единственного пассажира.

Был он крепок, жилист, медвежеват и, судя по выражению его лица, соскучился по общению. Редко, но бывает: посмотришь на русского человека острым глазком; посмотрит и он на тебя острым глазком – и все понятно, не надо никаких вопросов и объяснений. На его обветренном, иссеченном морщинами лице выделялся длинный, как банан, нос, редкое зрелище среди северян. Вероятно, этот нос был задуман на трех человек, а достался почему-то одному.

– Давайте знакомиться, — предложил я и назвал себя.

Его взгляд долго блуждал между мною и моим рюкзаком.

– У меня, вишь, китайская фамилия, – словно стесняясь, сообщил Длинноносый.

– Интересно – какая? – удивился я.

– На-Ли-Вай! – по слогам отчеканил он и посмотрел на меня с надеждой. Я видел в его глазах то, что он видит в моих глазах, и мы друг другу нравились. Был он того неопределенного возраста, когда человеку можно дать и пятьдесят, и все семьдесят с горкой.

– Вот это интуиция! – почти прокричал я и полез в рюкзак за «Беленькой». Но от волнения вытащил не водку, о чем до сих пор сожалею, а темно-красную фигуристую бутылку зеленомысского происхождения, цена которой... эх, лучше промолчать! Для тех, кто не знает, сообщаю: сей сосуд был разделен на две равных половинки с перегородкой внутри. Одна половинка содержала жидкость молочного цвета, другая – ярко-красного, почти кровавого. В предвкушении выпивки, с распахнутой да ушей улыбкой, старик обнажил щербатый рот, в котором светился один-единственный зуб из нержавеющей стали. Он пробулькнул ликер прямо из горлышка, поморщился, громко крякнул и заявил с обидой:

– Шмурдяк!³

...Вообще, как он затесался в мое повествование, этот длинноносый дед Наливай-Шмурдяк? Мало того, что он обидел высочайшего класса экзотический продукт, он еще

³ Дешевое красное вино типа портвейна. Большой словарь русского жаргона.

и отвлек меня от заданной темы. Как дальше писать и о чем? Может быть, прав Лев Николаевич, когда говорил в запальчивости, что писать надо «вне всякой формы: не как статью, рассуждения и не как нечто художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь», обо всем, что встретилось тебе на пути. Возможно, Толстой был предтечей нынешнего модернизма. Писать надо не совершенно, а незавершенно, как сказал другой классик, «законченность опасна для писателя»...

Поезд шел ни шатко ни валко, с кочки на кочку, через вымершие полустанки, колючие леса и топкие болота. Мимо ягельных опушек, чистых говорливых рек и речушек, угрюмых лешачьих озер и, наконец, остановился у здания под названием «Продукты». Станция была безымянная и почти безлюдная. У вагона меня встречал директор лесхоза Коврижин, и вид у него был немного встревоженный. Видимо, переживал, не потерял ли я его карту в своих скитаниях по тайге...

«Из Египта евреев вывел Пророк Моисей, а нас, восемнадцать жителей белорусского местечка Долгиново, вывел лейтенант Коля Киселев»

...Он принадлежал к невезучей когорте младших офицеров 1941 года. Окончившие в ускоренном темпе командирские курсы, мало чему научившиеся, с ходу брошенные под вражеские танки, артобстрелы, авиабомбежки. Испытавшие ужас и панику первых дней войны. И каждый день, каждый час стоящие перед реальной угрозой угодить в фашистский плен. Слава Богу, что были беспартийные, а то бы, попав в лапы гитлеровцев, загремели бы под расстрел...

Николай Киселев сполна прошел все эти испытания. Что известно о его довоенном прошлом? Родился в Башкирии, в небольшом городке, где недавно ему поставили памятник, окончил Институт внешней торговли в Москве, на фронт ушел добровольцем. Никогда не нюхавший пороха, характером – мягкий и интеллигентный, он, за отсутствием выбывших из строя кадровых офицеров, сразу был назначен командиром стрелковой роты. Воевал недолго, что вполне закономерно. Попал в окружение у деревни Долгиново, в Белоруссии. С осени 41-го находился в лагере военнопленных, но успешно бежал. Партизанил в полесских лесах и болотах.

И вот тут начинается главная – 40-дневная – одиссея его жизни.

270 долгиновских евреев чудом уцелели после массовых расстрелов. В основном это были старики, женщины и дети. Каким-то образом они сумели спрятаться в лесах, окружавших белорусские деревни, и укрыться под защитой партизанских отрядов. Во главе их стояли властолюбивые «бабки» – бывшие командиры Красной Армии и местные партработники. Они привыкли ни от кого не зависеть и никому не подчиняться. Отряды, привыкшие к легким победам над полицаями, все глубже обнаруживали свою несостоятельность – у них не было ни оперативной разведки, ни связей, ни способности к сложному маневру в тылу врага. А тут еще нескончаемый обоз беженцев, которых требовалось хотя бы элементарно прокормить. Многие из евреев, понимая это, уходили на «вольный выпас»: у местного населения пытались обменять свою одежду на хлеб и молоко. Однако в селах их встречали с недоверием, а порой и враждебно. Почти на каждой хате висели грозные приказы немецкой администрации о расстреле на месте, если кто-то из крестьян станет укрывать евреев. Редко кто отваживался нарушить эти приказы и оказать помощь несчастным старикам и детям.

Тем временем из белорусского штаба партизанского движения поступило обращение: вывести жителей Долгинова с оккупированной территории на «большую землю». Приказать легко, а как это сделать? Два командира партизанских

отрядов долго ломали головы. Да, еврейские беженцы – это стихийное бедствие, обуза для бойцов сопротивления. Потому что вместо боевых действий приходится подчас проводить действия сугубо хозяйственные, продовольственные. А именно – отозвать у немцев склады с зерном и обмундированием.

Появившийся как нельзя кстати лейтенант Киселев подходил, по мнению начальства, для выполнения этой задачи. Хотя до конца не представлял себе – как это можно пройти более тысячи километров по территории, занятой врагом, и при этом уцелеть?!

270 жителей Долгинова смотрели на него хмуро и недоверчиво. Некоторые даже пытались злословить: «На кой, мол, черт нам такой вожак, еще удерет с дороги, вон какой у него жалкий и потрепанный вид!» – кипел чей-то разум возмущенный. Но Николай стойко выдержал все насмешки и представил «почтенной публике» свой отряд, состоящий из пяти партизан и одной медсестры.

Выступив в поход, беженцы шли только по ночам, преодолевая в лучшем случае километров тридцать. Днем отсыпались, прячась в густых зарослях и болотах, а бойцы охранения вели разведку, искали более-менее безопасную дорогу, добывали хлеб и картошку. Но разве напасешься еды на 270 вечно голодных ртов? Грибы и ягоды были весьма ощутимым добавком в скудной походной жизни.

Сколько детей и стариков удалось спасти, сколько телег

и добра удалось протащить по обманным мхам и болотинам, сколько товарищей потерять?.. История уже не помнит этих безымянных подвигов. Наверное, не одного путника за-сосала в себя эта вязкая подземная сила и прикрыла сверху, как гробовой доской, сырой, темной хлябью. Наверное, не один беженец нашел вечный покой среди гибельных полесских болот, канул навечно в тягучее илистое дно под жидким осенний небом, которое кляли и звали одновременно заломленные в судороге руки...

Киселев обратил внимание на резкие перепады настроения у своих подопечных – то, что впоследствии психологи наших дней назовут «еврейской меланхолией». Эта меланхолия была окрашена необъяснимым чувством вины, чувством тревоги и страха за будущее. Тревожность и повышенная рефлексия накладывала негативный отпечаток на бытовую неустроенность: люди ссорились из-за мелочей, иногда кидались в драки. Психические реакции были неадекватны: от молчаливой покорности, подавленности до внезапно-го взрыва страстей... «Были бы простые солдаты – никаких хлопот. Приказано – выполнено! – думал про себя лейтенант Киселев. – А тут надо быть тонким дипломатом, убежденным переговорщиком, участливым, даже ласковым проповедником». Недаром гласит русская пословица: «Мягкое слово кость ломит».

Перед угрозой смертельной опасности все объединялись и действовали, как пальцы одной руки. Еще до выхода

в путь командир строго-настрого предупредил: при появлении немцев или полицаев разбежаться в разные стороны, надежно прятаться, а собираться на прежнем месте только через три дня. Но не всегда приказ выполнялся. Однажды на исходе третьих суток их собралось только 220 человек. Одни попали в плен, других, взяв в свои семьи, уберегли местные крестьяне, третьи решили продолжить бегство самостоятельно, четвертых похоронили ненасытные болота.

Дети хуже всех переносили тяготы похода. Ночами самые маленькие неутешно плакали и кричали, требуя хлеба. А ведь встречались такие места, где нужно было идти абсолютной тишине, в абсолютном молчании. Один неверный шаг, одна еле слышимая реплика, зажженная самокрутка могли погубить всю колонну. Много-много лет спустя участница этого похода вспоминала девочку, которая все время плакала, и мать никак не могла ее успокоить. «В полном молчании, под давлением всех остальных, упрямо заявляющих о неготовности умереть из-за непрекращающегося плача, родители ребенка приняли страшное решение: понесли дочку к реке. Но никто из них не мог сделать это. Передавая девочку друг другу, каждый из супругов умолял: «Ты сделай это». Находившиеся рядом отвернулись и просто ожидали, не желая смотреть на то, к чему сами косвенно подталкивали. Девочка, почувствовав, что ей угрожает, крикнула на идише: «Я не хочу умирать!»... Киселев, услышав крик и поняв ее слова без перевода, подбежал к берегу и взял ребенка на ру-

ки. С ней на руках он прошагал не одну сотню километров, и девочка, до этого постоянно плакавшая, остаток пути молчала».

Киселев опешил. И хотя волей-неволей приходилось вступать в бой с немецкими патрулями и изменять курс движения, он упрямо шел вперед, сокращая остановки на привалах. Его подстегивали осенние дожди, приближающиеся холода и убывающие на глаза силы беженцев. На сороковой день колонна, наконец, добралась до расположения передовых частей Красной Армии. А буквально накануне наткнулась на переодетых в форму НКВД немецких диверсантов, которые отобрали у командира документы. Пока разобрались что к чему, пришлось принимать бой. Шесть солдат охранения отступали, отстреливаясь и прикрывая собой разбегающихся женщин и стариков.

Как это нередко случалось в те годы, Киселев был арестован по подозрению в дезертирстве. Документов нет – какой может быть разговор! СМЕРШ грозил ему немедленным расстрелом. Но тут заговорили те, кто прошел с ним по оккупированным территориям, каждый подписался под обращением об освобождении и награждении молодого лейтенанта. Его освободили. И даже наградили, чему он был немало удивлен. Киселев получил... 800 рублей: по тогдашнему курсу цена одного килограмма сливочного масла. Но выше всяких наград были для него любовь и благодарность спасенных им людей...

Мало что известно о его послевоенной судьбе. Известно только, что Николай Яковлевич умер в Москве в 1974 году. Его подвиг навсегда остался бы безызвестным, если бы не случайная находка в архиве. Директор Белорусского музея Холокоста Инна Герасимова, разыскивая документы военного времени, наткнулась на пожелтевшие листки отчета Киселева, который тот отправил в штаб партизанского движения сразу после выхода из окружения. Он провалялся в архиве более пятидесяти лет. На Белорусском ТВ был снят документальный фильм «Список Киселева. Спасенные из ада». На экране звучали голоса бывших беженцев, бывших детей из 1942 года, они называли лейтенанта своим спасителем, ангелом, отцом – и не стеснялись слез. Фильм прошел по нашему телевидению, говорят, по какому-то спутниковому каналу, ночью, видели его считанные единицы, но и этого было достаточно, чтобы увековечить память о Николае Яковлевиче Киселеве. Одна из улиц села Долгиново стала носить его имя. В конце 2015 года в городке, где родился Киселев, Благовещенске, ему установили памятник. Задолго до этого два слова KISELEV NIKOLAI были выбиты на мраморной Стене Почета в Саду праведников мемориала Яд-Ва-Шем. А в Иерусалиме на ежегодных встречах 5 июня, почитая память погибших, среди других мучеников всегда называют и его имя. Преклонных лет женщина, бывшая беженка, сказала однажды:

– Из Египта евреев вывел пророк Моисей, а нас, 218 жи-

телей местечка Долгиново в Белоруссии, вывел русский лейтенант Коля Киселев...

Некоторые подробности о судьбе Н. Я. Киселева и его отряда мною получены из публикации в малотиражной газете «Еврейское слово» – 25 января – 8 февраля 2016 года.

И еще одно существенное добавление. Как ни темнило телевизионное начальство относительно демонстрации «Списка Киселева», латентный заговор молчания был все-таки преодолен. 26 января 2017 года, спустя почти девять лет, как был снят фильм, его показали по каналу «Культура». Автор сценария – Оксана Шапарова, режиссер – Юрий Малюгин. К сожалению, я узнал об этом, когда настоящий очерк был уже написан и принят редколлегией нашего альманаха. В фильме нет никакой парадной шелухи, никакой псевдогероики – все настоящее, подлинное. Человеку там невозможно притворяться тем, кем он не является на самом деле. Бывшие дети-беженцы, а ныне бабушки и дедушки, счастливо дожившие до наших дней, своими рассказами создают коллективный портрет Николая Яковлевича Киселева. Мириам Гольц, Арье Рубин, Сима Шлихтман, Шимон Хевлин, Иосиф Каплан, Захар Шульман... Список можно продолжать.

Не могу умолчать и о «плачущей девочке». Той самой, которая чуть не погубила отряд и была спасена Колей Киселевым. Гражданка Израиля Берта Кремер в окружении своих детей, внуков и правнуков была на редкость словоохотлива, много улыбалась, а когда речь зашла о ее спасителе-лейте-

нанте, неутешно расплакалась...

Лилит Козлова

**«Я и мир» Константина
Паустовского и Марины Цветаевой
*К 125-летию Паустовского
и Цветаевой в 2017 году***

Чтобы в мире было двое: Я и мир!
Марина Цветаева

Наверное, эта формула юной Цветаевой типична для каждого человека в самом начале жизни. Здесь мир выступает как некая универсальная сущность, с которой сталкиваешься постоянно в разных ее лицах и проявлениях. Мир – поначалу некая нерасчлененность, иероглиф, пока отдельные его стороны и качества не станут самостоятельной реальностью и даже равновеликостью того главного, внутреннего, что мы ощущаем как свое «Я».

Константин Паустовский и Марина Цветаева. Одногодки, два светлых русских громких имени в литературе, два гуманиста XX века. Как они соотносились с тем, что было их окружающим миром, по сути – с родиной, с людьми, с родной землей, на которой родились и росли? Как отстаивали

и защищали свой внутренний мир, то главное и любимое, чем смотрели в мир окружающий, свое глубинное «Я»?

Самое начало типично для ребенка – столкновение, инстинктивное желание победить, быть сильнее всех препятствий. У отдаленного потомка гетмана Сагайдачного, Константина Паустовского, читаем: «Казачи неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походами «на Туретчину», об Уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох – будяк. ...И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови».

Даже в этом коротком описании детских боев, прямых столкновений детей друг с другом, хоть и в игре, уже явно проглядывает вторая сторона личности маленького Кости: поэтическая романтичность, та отрешенная лиричность в мире фантазий, которая долго так пугала его мать. Это она предсказывала ему нищету и смерть под забором, приговаривая, что у него «вывихнутые мозги и всё не как у людей».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.